



СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1971

704740

ВОЛГОДСКАЯ
областная библиотека
им. И. В. Бабушкина



Больше полувека насчитывает творческая биография Бориса Викторовича Шергина, писателя редкостного самобытнейшего таланта, «волшебника русской речи», несравненного певца Северного края.

В новую книгу Бориса Шергина «Гандвик — Студеное море», которая издается к 75-летию писателя, вошли его лучшие новеллы, были и старины, рассказывающие о быте и нравах мореходов и кораблестроителей Севера, о народном изобразительном искусстве и поморских мастерах слова.

Художник А. Т. Наговицын

ДОБРЫМ ЛЮДЯМ НА УСЛЫШАНИЕ

Борису Викторовичу Шергину в этом году исполняется семьдесят пять лет. «Поэтической душой русского Севера», «замечательным писателем, под стать Пришвину и Бажову», «волшебником русской речи» в один голос называют его известные наши критики и литературоведы. Писатель редкостного таланта, самобытный, ни на кого не похожий, он во многом идет от своих поморских предков и учителей, даровитых архангелогородских кораблестроителей и мореходов, у которых за обычай было и сказку сказать, и былинку спеть. Была у них и врожденная потребность-привычка записывать события хотя бы личной жизни, которые казались достопамятными. Один из таких славных мореходцев из дружины отцовской, Лоушкин Максим Осипович, напутствуя будущего писателя, говорил: «Поедешь, Борис, в Москву учиться, постарайся, чтобы наши сказания попали в писанья».

Поморские сказания и писания!

Тут не обойтись без пояснений. Еще с давних времен, с XVI столетия, если не раньше, среди архангельских поморов стихийно распространилась самобытно-русская, народная морская литература. Всякого рода «уставцы морские», «морские указы», «морские урядники» и «книги морского хода» обсказывали корабельные маршруты от Белого моря во все стороны Ледовитого, или по-старому Студеного, океана — на запад, в Скандинавию, и на восток, к Новой Земле и Печоре, объясняли природу ветров, распорядки приливно-отливных течений, учили предугадывать погоду по цвету морской воды, по оттенку неба, по движению и форме облаков. Практическая, деловая часть этих сделанных от руки северно-русских лоций вполне соответствует печатным лоциям нашего времени.

Другим видом поморской литературы были уставы, закреплявшие морские правовые обычаи, регламентировавшие и практически-деловые, и нравственно-моральные взаимоотношения мореходцев-промышленников и их отношение к обществу.

Видимо, несколько позднее появилась художественно-бытовая литература поморского Севера. Свообразным видом ее были рассказы о знатных кормщиках. Эта литература получила широкое хождение

по Северу. Русское Поморье имело своих писателей и самобытных ученых.

На рубеже XVIII века интересной отраслью древне-русского «морского знания»¹ были морские карты, или, как их еще называли в старину, «морские чертежи».

Но с времен Петра Великого и его преемников эта народная морская литература русского Севера приходит в упадок. Начались гонения на поморское судостроение. Специальным указом Петра I повелевалось строить суда только по голландским образцам.

Древняя и оригинальная поморская картография постепенно была забыта. Дело дошло до того, что первым картографом побережья Северного Ледовитого океана стали считать голландца Ван-Клейна, который пользовался в своей работе поморскими чертежами, а там, где не хватало русских данных, откровенно фантазировал.

Древние поморские документы, старинные виды поморской литературы² не береглись, уничтожались, потому что тогдашняя «немецкая» официальная наука не интересовалась ими, не искала, не собирала их. В итоге утрачивалось не только ветхое, но и то, что было интересно для истории и для живой практики.

Но не пропадала вера в надобность своей науки у самих поморов, теплилась в их сознании мысль, что старое «морское преданье и морское писанье» кому-то еще понадобится. По сундукам сохранялись до времени старые карты, держались в памяти и передавались младшему возрасту старинные предания, старая морская наука.

Широкое распространение среди народа получил и такой специфический вид поморской литературы, как «записные книжки», без которых не обходился никакой кормщик-шкипер, мурманский промышленник, корабельный мастер, служащий пароходства, да и не только они — каждый архангельский «мужик» непременно носил с собой такую «записную» книжку. Это была характерная особенность, характерная примета жителей Севера. Конечно, эти «записные книжки» ничуть не походили на сегодняшние записные книжки, которых не хватает даже для записи адресов и телефонов. Поморские «записные книжки» были достаточно объемистыми. Кроме всяких личных памяток, нередки в них и записи преданий, связанных с тем или другим местом попутного берега, описание штормов и «морских встреч» или иных «любопытных случаев». У некоторых людей подобных па-

¹ Читателя, который захотел бы более подробно узнать об этом, отсылаю к очерку Б. В. Шергина «Запечатленная слава», который вошел в книгу «Океан — море русское» («Молодая гвардия», 1959) и другие сборники автора.

² Я не касаюсь здесь той части поморской литературы, которая продолжалась в литературе старообрядцев.

матных «записных книжек» накапливалось за жизнь немало. Никто, к сожалению, не интересовался этой литературой. А сколько здесь было прелюбопытного!

Еще в начале двадцатого столетия в Архангельске немало было домов, где хранили память о русской морской старине, о славных поморских мореходцах и кораблестроителях. Были в среде тамошних моряков и судостроителей и настоящие энтузиасты — патриоты своего края.

Не на пустом месте вырос Шергин. Его семья принадлежала к «морскому сословию». Коренной поморкой была мать будущего писателя, Анна Ивановна, в девичестве Старовская; дед его Иван Михайлович Старовский служил нарядником, то есть смотрителем, в Архангельском адмиралтействе; у прадеда шли паруса на корабельные верфи. Отец был «корабельным мастером первой статьи», но фамилия Шергиных вышла из крестьян. Жили Шергины в селе Серегово на реке Вым, в верховьях Вычегды, где дед писателя по отцу был старостой половников (издольщиков). Там долгое время оставались некоторые Шергины. А какие-то Шергины уже в XVI веке служили у Строгановых в Сольвычегодске.

Отец будущего писателя, Виктор Васильевич Шергин, еще в детстве вместе с матерью и сестрами перебрался в Архангельск. Всю свою жизнь он провел в служении морю. В пятнадцать лет ходил в зуйках — так у поморов называли мальчиков, работавших на промысловых судах. Своим умом дошел до степени «корабельного мастера первой статьи». Штурманом и шкипером плавал и в Скандинавию, и на Новую Землю. Несколько лет состоял главным механиком Мурманского пароходства. Отец Шергина был из тех архангелогородцев, которые никогда не расставались с «записной книжкой». Любовь к механике сочеталась у него с любовью к слову и любовью к искусству. Виденное и пережитое, слышанное и читанное он умел пересказать так, что оно навсегда оставалось в памяти детей. «Двери, ставни, столы, крышки сундуков в нашем доме, — рассказывает Борис Викторович Шергин, — расписаны были его рукой. В живописи отец варьировал одну и ту же тему: корабли, буруеваемые морским волнением».

Людьми большой по тому времени культуры были и друзья отца, «отцово дружина» — архангельские моряки и корабельные мастера Максим Лоушкин, Пафнутий Анкудинов, Конон Второушин, по прозвищу Текгон, то есть Строитель, Василий Гостев. Всех их объединяла горячая и беззаветная приверженность к самобытной русской морской культуре, любовь к живому русскому слову.

«Эта любовь к достопамятности, — пишет Шергин, — это стремле-

ние увековечить явления жизни в большой мере свойственны людям Севера. Не потому ли Северный край так долго являлся единственным хранителем русского национального эпоса.

С малых лет, как губка, впитывал будущий писатель рассказы старших, его всегда интересовало и «о чем старухи судачат», и «о чем старики сказывают».

Сказки, былины, старинные песни и предания о морской старине постоянно можно было слышать и дома у Шергиных, и на море, и в промысловой артели, и в корабельной дружине, где всегда бывали хорошие рассказчики, иногда истинные мастера живого слова. Большими любительницами старинных песен были мать писателя и отцова сестра, Глафира Васильевна, любимая тетка молодых Шергиных, которая знала много преданий еще XIV века. Долгие годы жила в семье Шергиных замечательная песенница, крестьянка Архангельского уезда Наталья Петровна Бугаева. Чудесной души человек, она одно время была невестой Пафнутия Анкудинова и осталась его другом до конца жизни. Близкий друг семьи Шергиных — крестовый, то есть названный брат отца, Пафнутий Анкудинов (он тоже жил у Шергиных) знал на память и книжные сказания и устные предания. В морских походах и на звериных промыслах он пользовался славой первоклассного сказочника и певца, умевшего петь по старинным «крюковым», нотным книгам. Своеобразный поэт и артист, старый помор Пафнутий Осипович Анкудинов «мастер был столярничать, плотничать, шорничать. С топором в руках «читал» он технологию дерева, а благодаря тому, что всякое объяснение было поэмой, оно вкоренялось на всю жизнь».

Полный талантов, дом Шергиных притягивал талантливых людей. В 1913 году в поисках интересных людей в дом Шергиных приходит известная собирательница северорусского фольклора артистка Ольга Эрастовна Озаровская. Знакомится — и становится другом семьи.

Духом песнетворчества постепенно проникается и молодой Шергин. «Легендарные истории, сказки, былины, — рассказывает Шергин в своей автобиографии, — все, что поражало мое воображение, я любил повторять и дома, и где-нибудь в кругу сверстников».

Удивительно мало оставила в памяти, в рассказах писателя архангельская гимназия, в которой он начинает учиться. Официальная наука, по его выражению, «отпрядывала» от него, другое влекло неудержимо.

Подражая взрослым, он сшивал тетради и печатными буквами списывал туда то, что казалось ему любопытным. Эти самодельные книжиды он иллюстрировал собственноручными рисунками.

Любовь к рисованию сдружила его с Виктором Постниковым.

известным впоследствии художником, певцом Севера. Они вместе переводили на сахарную бумагу сытинские лубки, с увлечением копировали виды Соловецких островов, подсознательно ссыкая образцы, техника которых была бы понятна и посылна. И вот в руки им попадают серни билибинских работ: северное зодчество, типы севера, иллюстрации былин. А потом — радость одна не приходит — в городе появляются репродукции с картин Васнецова и Нестерова.

С малых лет приглядывался Шергин и к тому, как северные мужики вырезали из узлов карельской березы, из обрубков рябины солоницы и братыни в виде птиц, делали изящные чашки и красиво выгнутые ложки. Стол, накрытый синей выбойчатой скатертью, и вереница таких судков, чаш, солониц удивительно напоминали море с кораблями, у которых «нос-корма по-звериному, бока взведены по-туриному».

Не оставляли равнодушным и крестьянские хоромы где-нибудь на Двине, у Белого моря. Какое удивительное чувство пропорций было у северных плотников-мужиков. Никаких украшений, ни окраски, но какая нежность тонов! Замечательное древнерусское деревянное зодчество будет одним из ярких открытий, которое сделает для себя молодой Шергин.

Другим открытием будут для него талантливые поэтические книги Михаила Пришвина «В краю непуганых птиц» и «За волшебным колобком». Никогда еще не читал молодой Шергин ничего подобного о своем родном Севере. «Как будто глаза открыл, понял ценность и красоту всего окружавшего меня — людей, родной природы, — писал он. — Какая большая, оказывается, Родина».

Забегая вперед, скажу, что книги Михаила Пришвина и до последних дней остаются у Шергина любимым чтением. А самым дорогим ему писателем всегда был Чехов.

Постепенно у молодого художника открываются глаза на то, что было бесценного в быту, под рукой, «но не замечалось»: на расписные столы, сундуки, шкафы, резные прялки, ендовы. Сколько художественной старины, сколько замечательного оказалось в самих поморских домах!

Увлечение искусством было действенным и побуждало к труду. Руки невольно тянулись к ножу, к стамеске, к кисти. Шергин делает модели кораблей, старинных северных церквей, утварь в северорусском стиле, у местных мастеров учится поморской иконописи.

Очень много значила для него встреча с московским художником Петром Ивановичем Субботиным. Произошла она в году 1911-м. Дело было так. Мать шла с базара, на пристани увидела: сидит на стульчике художник, корабли пишет. Подошла, не утерпела. «Ин-

тересуетесь?» — «Интересуюсь». Разговорились. Художник оказался из Москвы, приехал на лето, остановился в гостинице «Золотой якорь», да не нравится. «А у вас не будет ли комнаты?» Комнаты Шергины сдавали, и мать привела московского художника домой. «Боренька, смотри-ко, кого я привела!»

Субботин был директором художественной школы-мастерской под Москвой, человеком большой культуры, любил Север. Опытный педагог, он сразу оценил способности молодого Шергина и настойчиво советовал ему поступить учиться в Строгановское училище. Субботин увез с собой рисунки и другие художественные работы Шергина, чтобы показать в училище. Работы Шергина понравились. Но юноша не сразу решается сделать выбор, сомневается и некоторое время живет одной ногой в гимназии, другой в училище.

Только в 1913 году страсть к искусству пересиливает, и он поступает в Строгановское училище. С тех пор, с 1913 года, Шергин делит жизнь между Архангельском и Москвой, чтоб позже навсегда поселиться в Москве.

Приняли его сначала на первый курс (или класс), но уже к Новому году за успехи перевели в третий.

Как праздник, вспоминает Шергин годы учения в Строгановском училище. Талантливые педагоги-художники «искру любви к искусству умели раздувать в пламя». Его северные темы получили полное одобрение. Встретила поддержку и поощрение и любовь молодого художника к живому русскому слову. Шергин отличался рисованием, но еще больше знали его как сказочника. На учрежденных в училище утренниках по словесности он выступал перед товарищами со своими собственными рассказами.

Когда Шергину было девятнадцать лет, в архангельской газете были напечатаны его первые два рассказа: «Пафнутий Осипович Анкудинов» и «Наталья Петровна Бугаева». В них он отдал первую дань памяти талантливых певцов из народа, которые на всю жизнь внушили ему любовь к животворному русскому слову. И еще не раз будет в своих рассказах вспоминать Шергин этих чудесных сказителей.

В 1915 году О. Э. Озаровская привозит в Москву знаменитую пинежскую сказительницу былин Кривополенову Марию Дмитриевну. На первом же выступлении Шергин знакомится с ней.

Летом 1916 года по заданию Академии наук Шергин ездил по Архангельской и Олонецкой губерниям, по притокам рек Ваги и Сюма — исследовал местные говоры, записывал произведения народного творчества. Открытый лист, или, по-современному, командировку, подписал ему знаменитый русский ученый-филолог, академик

А. А. Шахматов. У него было личное задание к Шергину — определить примерные границы поморского и вологодского говоров.

С первых дней революции в Архангельске организуется художественная ремесленная мастерская, где Шергин заведует художественной частью. Занимались в мастерской по преимуществу знаменитой холмогорской резьбой по кости. Работали в ней самые прославленные мастера того времени: Перепелкин, Узиков, Шарыпин. Шергин рисовал образцы, разрабатывал рисунки новой, советской тематики.

Поставляла мастерская и скульптуры: с бюстов великих прогрессивных деятелей прошлого, которые находили в богатых домах, снимались гипсовые копии. Занимался скульптурой и Шергин — лепил фигуры северных птиц и зверей. С них делались гипсовые отливки, которые потом Шергин расписывал. Занимался он и скульптурами представителей различных народностей Севера. Выпускались такие скульптуры сотнями. Эти работы молодого Шергина до сих пор можно встретить в домах некоторых московских художников.

В 1922 году Шергин окончательно переезжает в Москву. С этого времени и по 1930 год он работает в Институте детского чтения Наркомпроса. Как научный работник первого разряда Шергин выступал со своими изустными рассказами о Севере в школах, клубах, библиотеках, перед самой разнообразной детской аудиторией. Это была в полном смысле слова работа в массах. В эти годы Шергин писал мало, но работа с читателями не пропала для него даром. Характерная особенность Шергина как писателя отмечена еще О. Э. Озаровской: ему нужно не раз рассказать на людях свой новый рассказ, новеллу или быль, «примерить» на аудиторию, чтобы затем закрепить это самое на бумаге. Любопытная психологическая особенность, которая еще ждет своего объяснения!

И позднее, почти до самых последних пор, Шергин не оставлял своей изустной практики. Некоторые из его рассказов до сих пор еще не закреплены письмом, передаются автором по памяти, в вариантах, которые он «примерял» к разной аудитории.

С 1924 года начали выходить в Москве книги Шергина. Первой была «У Архангельского города, у корабельного пристанища» (М.—П., ГИЗ, 1924) — сборник старин, эпических песен с мелодиями, напетыми матерью писателя, в котором автор хотел сохранить хотя бы воспоминания о прошлом богатстве не в изуродованном и не в заспиртованном виде, а живом и действенном. «Если смолкают колыбельные песни, старухи позабыли сказки, а старики — старины, не можем ли мы перенять их исчезающее уменьье?» — такую очень глубокую, беспокойную мысль, важную и для нашего времени, высказал молодой Шергин еще сорок пять лет назад.

Затем отдельным изданием выходит «Шиш московский» (М.—Л., ГИЗ, 1930) — цикл небольших сказок о забавных приключениях ловкого шиша-бродяги. Шергин — великий мастер рассказывать свои произведения, но его сказки про шиша всегда пользуются особым успехом у слушателей.

В 1936 году выходят «Архангельские новеллы» (М., «Советский писатель») — сборник новелл и сказов, бытовавших на Севере, написанных на материале, слышанном от бывалых людей, в манере, близкой к изустным рассказам.

В 1939 году в Гослитиздате вышла новая и очень заметная в творчестве писателя книга «У песенных рек», которая открывается большим циклом авторских, собственно шергинских произведений. Шергин выступает здесь тонким мастером сюжетной новеллы. Вторую часть книги составили записи разговорной севернорусской речи — мысли, афоризмы и суждения народные о замечательных людях и деяниях нашего времени. Я нарочно отмечаю эту книгу потому, что в те годы кем-то распространялось невежественное мнение о том, что Шергин, собственно, фольклорист, обработчик фольклорных сюжетов, а не писатель. Новая книга Шергина убедительно опровергла это мнение.

Настоящую славу и признание писателю принесла книга «Океан — море русское», вышедшая в 1957 и 1959 годах двумя изданиями в издательстве «Молодая гвардия». В этой книге собраны лучшие оригинальные произведения Шергина, которые характеризуют его прежде всего как блестящего мастера новеллы. Копилкой добротной севернорусской речи назвал эту книгу Леонид Леонов. «Лично мне, — писал он в своей рецензии, — многие из этих новелл напоминают знаменитую когда-то устюжскую, вологодскую чернь, где царской водкой или еще каким-то положенной крепости составом вытраивались по серебру миниатюры из народного быта, события, иносказания, богатырщина народной жизни, любовно подмеченные явления родной природы».

Самая большая и «представительная» книга Шергина «Запечатленная слава» вышла в 1967 году в издательстве «Советский писатель». В нее вошли как лучшие новеллы и были, так и сказки про шиша московского и замечательные шергинские старины. Эта книга дает самое всестороннее и глубокое представление о Шергине, и ее мы рекомендуем тем, кто захочет подробнее познакомиться с творчеством замечательного русского писателя, несравненного певца Северного края, патриота города Архангельска.

Некоторые сказки, были и новеллы Шергина печатались в «Литературной газете», «Известиях», «Ленинградской правде», в журна-

лах «30 дней», «Колхозник» (в нем Максим Горький напечатал одну из лучших новелл Шергина «Рождение корабля»), «Октябрь», «Смена», «Пионер», «Вокруг света», «Нева», выходили отдельными изданиями в издательствах «Детская литература» и «Малыш».

Борис Викторович Шергин — член Союза советских писателей с 1934 года. Он был делегатом первого съезда писателей от московской писательской организации.

Творчество Шергина — оригинальное и заметное явление в современной русской советской литературе. Народная, трудовая основа его таланта, педагогическая, высоконравственная направленность его произведений и замечательные образы созданных им героев — мужественных и самоотверженных поморов, художников и всякого рода народных умельцев — делают его книги не только памятником замечательной севернорусской речи, но и активным орудием в нашей воспитательной работе.

Произведения Бориса Викторовича Шергина воспитывают высокий художественный вкус и патриотизм. Многие его новеллы давно уже достойны включения в школьные хрестоматии. Но много удовольствия и полезного раздумья доставят они и взрослому читателю.

Владимир Сякин

Родную мою страну обходит с полуночи великое Студеное море — седой океан.

От Студеного океана на полдень развеличилось Белое море, наш светлый Гандвик. В Белое море пала архангельская Двина. Широка и державна, тихославная та река идет с юга на полночь и под архангельской горой встречается с морем. Тут островами обильно: пески лежат и леса стоят. Где берег возвышен, там люди наставились хоромами. А кругом вода. Куда сдумал ехать, везде лодку, а то и корабль надо.

В летнюю пору, когда солнце светит в полночь и в полдень, жить у моря светло и любо. На островах расцветают прекрасные цветы, веет тонкий и душистый ветерок и как бы дымок серебристый реет над травами и лугами.

Приедем из города в карбасе¹. Кругом шиповник цветет, благоухает. Надышаться, наглядеться не можем. У воды на белых песках чайки ребят петь учат, а взводеньком² выполаскивает на песок раковицы-разиньки. Летят от цветка к цветку медуницы, мотыльки. Осенью на островах малина и смородина, а где мох, там обилие ягод красных и синих. Морошку, бруснику, голубель, чернику собираем натодельными³ грабельками (руками долго) и корзинами носим в карбаса. Ягод столько — не упомнишь земли под собой. От ягод тундра как коврами кумачными покрыта.

Где лес, тут и комара — в две руки не отмашешься.

¹ Карбас — парусно-гребное судно древнерусского образца. Карбас легок, поворотлив на ходу и распространен на Севере до наших дней. Морские карбаса были с палубой.

² Взводень — крутая, большая волна.

³ Натодельный — для того сделанный.

В летние месяцы, как время придет на полночь, солнце сядет на море, точно утка, а не закатится, только снимет с себя венец, и небо, загорится жемчужными облаками И вся красота отобразится в водах.

Тогда ветры перестанут и вода задумается. Настанет в море великая тишина. А солнце, смежив на минуту глаза, снова пойдет своим путем, которым ходит беспрестанно, без перемены.

Этого светлого летнего времени любим и, как праздника, ждем. С конца апреля и лампы не надо. В солнечные ночи и спим мало.

С августа месяца белые ночи меркнут. Вечерами сидим с огнем.

От месяца сентября возьмутся с моря озябные ветры. Ходит дождь утром рано и вечером поздно. В эти дни летят над городом, над островами гуси и лебеди, гагары и утки, всякая птица. Летят в полуденные края, где нет зимы, но всегда лето.

Тут охотники не спят и не едят. Отец, бывало, лодку птицы битой домой приплавит. Нищим птицей подавали.

По мелким островам и песчаным кошкам¹, что подле моря, набегают туманы. Белая мара² морская стоит с ночи до полудня. Около тебя только по конец ружья видно, но в городе, за островами, туманов не живет.

Тогда звери находят норы и рыба идет по тихим губам³.

Холодные ветры приходят из силы в силу. Не то что в море, а на реке Двине такой разгуляется взводень, что карбаса с людьми пружит⁴ и суда морские у пристаней с якоря рвет.

¹ Кошка — здесь: песчаная отмель.

² Мара — густой туман.

³ Губа — здесь: морской залив.

⁴ Пружить, опружить — опрокидывать.

Помню, на моих было глазах: такая у города погодушка расходилась, ажно пристани деревянные по островам разбросало и лесу от заводов многие тысячи бревен в море унесло.

Дальше заведется ветер-полуночник, он дождь переменит на снег. Так постоит немного, да и пойдет снег велик днем и ночью. Если сразу приморозит, то и реки станут и саням путь. А упал снег на талую землю, тогда распута протяжная, по рекам тонколедица, между городом и деревнями сообщения нету. Только вести ходят, что там люди на льду обломились, а в другом месте коней обронили. Тоже и по вешнему льду коней роняют.

Так и зима придет. К ноябрю дни станут кратки и мрачны. Кто поздно встает — и дня не видит. В школах только на часок лампы гасят. В училище, бывало, утром бежишь — фонари на улицах горят, и домой в третьем часу дня ползешь — фонари зажигают.

В декабре крепко ударят морозы. Любили мы это время — декабрь, январь, — время резвое и гуливое. Воздух как хрусталь. В полдень займется в синеве небесной пылающая золотом, и розами, и изумрудами заря. И день простоит часа два. Дома, заборы, деревья в прозрачной синеве, как сахарные: заиндевели, закуржавели. Дух захватывает мороз-то. Дрова колоть ловко. Только тюкнешь топором — береги ноги: чурки, как сахар, летят.

На ночь звезды, как свечи, загорят. Большая Медведица — во все небо.

Слушайте, какое диво расскажу.

В замороз к полночи начнет в синем бархате небесном пояском серебряным продергивать с запада до востока, а с севера заподымается как бы утренняя заря. И вдруг все погаснет. Опять из-за моря протянутся пальцы долги без меры и заходят по небу. Да заря займется ужасная, как бы пожарная. И опять все потухнет, и звезды видать... Сиянье

же обновится. Временем встанет как стена, по сторонам столбы, и столбы начнут падать, а стена поклонится. А то будто голубая река протечет, постоит да свернется, как свиток.

Бывало, спишь — услышишь собачий вой, откроешь глаза. По стенам бегают светлые тени, а за окнами небо и снег переливают несказанными огнями.

Мама или отец будили нас, маленьких, яркие-то сполохи-сияния смотреть. Обидимся, если проспим, а соседские ребята хвалятся, что видели.

У зимы ноги долги, а и зиме приходит извод. В начале февраля еще морозы трещат, звенят. В марте на солнышке пригреет, сосули с крыш. В апреле обвеют двинское понизовье верховые теплые ветры. Загремят ручьи, опадут снега, ополнятся реки водою. Наступят большие воды — разливная весна.

В которые годы вешнее тепло вдруг, тогда Двина и младшие реки кряду оживут и расплывутся ото льда. Мимо города идет лед стенами-торосами.

Великое дело у нас ледоход. Иной год после суровой зимы долго ждем не дождемся. Вскроется река, и жизнь закипит. Пароходы придут заграничные и от Вологды. Весело будет... Горожане — чуть свободно — на угор¹, на берег идут. Двина лежит еще скована, но лед посинел, вода проступила всюду... В школе чуть перемена — сразу летим лед караулить. По дворам лодки заготавливают, конопатят, смолят. И вот топот по всему городу. Народ табунами на берег валит. Значит, река пошла. Гулянья по берегам открываются. Не до ученья, не до работы. На городских башнях все время выкидывают разноцветные флаги и шары; по ним горожане, как по книге, читают, каким устьем лед в море идет, где затор, где затопило.

¹ Угор — возвышенный берег.

Пригород Соломбала на низменных островах стоит, и редкий год их не топит. Улицы ямами вывертит, печи размокнут в низких домах. В городе как услышат — из пушек палят, так и знают, что Соломбала поплыла. Соломбальцы в ус не дуют, у них гулянье, гостьба откроется, ездят по улицам в лодках с гармониями, с песнями, с самоварами. А прежде — вечерами с цветными фонарями и в масках.

Лед идет в море торосами, стенами. Меж островов у моря льду горами наворотит, все льдом заложит, не видно деревень.

Конец апреля льдина уйдет, а вода желтее теста, мутновата: потом и мутница и пенница сойдет, и река опадет. Лето пойдет.

Город мой, родина моя, ты дверь, ты ворота в неведомые полярные страны. В Архангельск съезжаются, в Архангельске снаряжаются ученые испытывать и узнавать глубины и дали Северного океана. От архангельских пристаней беспрестанно отплывают корабли во все стороны света. На запад — в Норвегию, Швецию, Данию, Германию, Англию и Америку, на север — к Новой Земле, на Шпицберген, на Землю Франца-Иосифа. В наши дни народная власть распахнула ворота и на восток, указала Великий Северный путь. Власть Советов оснастила воздушные корабли — самолеты. Власть Советов пытливым оком посмотрела и твердой ногой ступила на Северный полюс, куда прежде чайца не залетывала, палтус-рыба не захаживала.

«Архангельский город всему морю ворот».

Архангельск стоит на высоком наволоке¹, смотрит лицом на морские острова. Двина под городом широка и глубока — океанские трехтрубные пароходы ходят взад и

¹ Н а в о л о к — часть берега, вдающаяся в море, озеро или реку.

вперед, поворачиваются и причаливают к пристаням без всякой кручины.

С восточной стороны легли до города великие мхи. Там у города речки: Юрос, Уйма, Курья, Кузнечиха.

В подосень, да и во всякое время у города парусных судов и пароходов не сосчитать. Одни к пристаням идут, другие стоят, якоря бросив на фарватере, третьи, отворив паруса, побежали на широкое студеное раздолье. У рынков, у торговых пристаней рядами покачиваются шхуны с рыбой. Безостановочно снуют между городом и деревнями пассажирские пароходики. Степенно, на парусах или на веслах летят острогрудые двинские карбаса.

Архангельское мореходство и судостроение похваляет и северная былина:

...А и все на пиру пьяны-веселы,
А и все на пиру стали хвастати.
Толстобрюхие бояре родом-племенем,
Кособрюхие дьяки большой грамотой,
Корабельщики хвалились дальним плаваньем,
Промысловщики-поморы добрым мастерством:
Что во матушке, во тихой во Двинской губе,
Во богатой, во широкой Низовской земле
Низовщане-ти, устьяне¹ промысловые
Мастерят-снасят суда—лодья² торговые,
Нагружают их товарами меновными
(а которые товары в Датской надобны).
Отпускают же лодья-те за сине море,
Во широкое, студеное раздольице.

Вспомнил я былину — и как живой встает перед глазами старый мореходец Пафнутий Анкудинов. «Всякий спляшет, да не как скоморох»³. Всякий поморец умел слово сказать, да не так красно, как Пафнутий Осипович.

¹ Устьяне — жители речного устья.

² Лодья — большое парусное трехмачтовое судно.

³ Скоморох — бродячий актер в древней Руси.

Весной, бывало, побежим с дедом Пафнутием в море
Во все стороны развеличилось Белое море, пресветлый наш
Гандвик.

Засвистит в парусах уносная поветерь¹, зашумит, рас-
сыпаясь, крутой взводень, придет время наряду и час кра-
соте. Запоеет наш штурман былинку:

Высоко, высоко небо синее,
Широко, широко океан-море,
А мхи-болота и конца не знай
От нашей Двины, от архангельской...

Кончит былинку богатырскую — запоеет скоморошину
Шутит про себя:

— У меня уж не запирается рот. Сколько сплю, столь-
ко молчу. Смолоду сказками да песнями душу питаю.

Поморы слушают, как мед пьют.

И я охоч был слушать Пафнутия Осиповича, и склад-
ное, красовитое его слово нескладно потом пересказывал.

¹ Поветерь — попутный ветер.



ДЕТСТВО В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Мама была родом из Соломбалы. У деда Ивана Михайловича шили паруса на корабельные верфи¹. В мастерскую заходили моряки. Здесь увидел молоденькую Анну Ивановну бравый мурманский штурман, будущий мой отец. Поговорить, даже познакомиться было трудно. Молоденькая Ивановна не любила ни в гости, ни на гулянья. В будни посиживала за работой, в праздники — с толстой рукописной поморской книгой у того же окна.

Насколько Аннушка была домоседлива и скромна, настолько замужняя ее сестра — модница и любительница ходить по гостям. Возвратясь однажды с вечера, рассказывает:

— Лансье сегодня танцевала с некоторым мурманским штурманом. Борода русая, круговая, волосы на прямой пробор. Такой щеголь...

— Машка, ты это к чему?

— К тому, что он каждое слово Анной Ивановной закроет.

— Я вот скажу отцу, посадит он тебя парусину дратвой штопать. В другой раз не придешь ко мне с такими разговорами.

Вскоро деда навестил знакомый капитан, зашел проститься к дочери хозяина и подал ей конверт.

— Дозвольте по секрету, Анна Ивановна: изображенное в конверте лицо, приятель мой, мурманский штурман, уходит на днях в опасное плавание и...

Молоденькая Ивановна вспыхнула и бросила конверт на пол.

— Никакими секретами и конвертами не интересуюсь!

¹ Верфь — место, где строят корабли.

Капитан сконфузился. Разгневанная Ивановна швырнула было пакет ему вслед, потом вынула фотографию, поставила перед собою на стол и до вечера смотрела и шила, смотрела и думала.

Прошло лето, кончилась навигация. По случаю праздника дедушка с дочкой сидели за чтением. В палисаднике под окном скрипнула калитка, кто-то вошел.

Молоденькая Ивановна взглянула, да и замерла. И вошедший — тот самый мурманский штурман — приподнял фуражку и очей с девицы не сводит.

Но и дед не слепой, приоткрыл раму:

— Что ходите тут?

— Малину беру.

А уж о Покрове. Снег идет.

Старик к дочери:

— Аннушка, что плачешь?

— Ох, зачем я посмотрела!

— Аннушка, люди-то говорят, ты ему надобна.

Вот дед с мурманским штурманом домами познакомились. Штурман стал с визитами ходить. Однажды застал Анну Ивановну одну. Поглядели разноцветные рисунки «Винограда Российского»¹, писанного некогда в Выгореции... Помолчали, гость вздохнул:

— Вы все с книгой, Анна Ивановна... Вероятно, замуж не собираетесь...

— Ни за царя, ни за князя не пойду.

Гость упавшим голосом:

— Аннушка, а за меня пошли бы?

Она шепотом:

¹ «Виноград (то есть сад) Российский» — книга эта рассказывает о преследованиях со стороны церкви и царя, которым в конце XVII и начале XVIII столетий подвергались староверы. Автор — Андрей Денисов (1675—1730); он основал на реке Выг своего рода культурный центр Поморья. Отсюда название: Выгореция.

— За тебя нельзя отказаться...

В Архангельском городе был у отца домишко подле Немецкой слободы, близко реки.

Комнатки в доме были маленькие, низенькие, будто каютки; окошечки коротенькие, полы желтенькие, столы, двери расписаны травами. По наблюдникам¹ синяя норвежская посуда. По стенам на полочках корабельные модели оснащены. С потолков птички растопоршились деревянные — отцово же мастерство.

...Первые годы замужества мама от отца не оставалась, с ним в море ходила. Потом хозяйство стало дома задерживать и дети.

У нас в Архангельске до году ребят на карточку не снимали, даже срисовывать не давали и пуще всего зеркала младенцу не показывали. Потому, верно, я себя до году и не помню. А годовалого меня увековечили. Такое чудышко толстоголовое в альбоме сидит, вроде гири на прилавке.

Я у матери на коленях любил засыпать. Она поет:

Баю-бай да люли!
Спи-ко, усни
Да большой вырастай,
На оленя гонец,
На тетеру стрелец...
.....
Ты на елке тетерку имай,
На озерке гагарку стреляй.
Еще на море уточку,
На песочке лебедушку.
.....

Мама на народе не пела песен, а дома или куда в лодке одна поедет — все поет.

¹ Наблюдник — полка, на которую ставят тарелки на ребро.

Отец у нас всю навигацию в море ходил. Радует, когда дома. Сестренка к отцу спрячется под пиджак, кричит:

— Вот, мамушка, у тебя и нету деушки, я ведь папина!

— Ну дак что, я тебе и платьев шить не буду.

— Я сама нашью, модных.

Сестрица шить любила: ей дадут готовую рубашонку и нитку без узла. Она этой ниткой весь день шьет. Иногда ворот у рубашки наглухо зашьет.

Отец нам про море пел и говорил. Возьмет меня на руку, сестру на другую, ходит по горнице, поет:

Корабли у нас будут сосновые,
Нашесточки, лавочки еловые,
Веселышки яровые,
Гребцы — молодцы удалые.

Он поживет с нами немножко и в море сторопится.

Если на пароходе уходит, поведет меня в машинное отделение. Машины я любил смотреть, только гулко, громоносного свиста отправляющегося в океан парохода я, маленький, боялся, ревел. До свистка выгрузят меня подале на берег. Я оттуда колпачком машу.

Осенью, когда в море наступят дни гнева и мрака и об отце вестей долго нет, не знала мама покоя ни днем, ни ночью. Выбежит на угор, смотрит к северу; на ответ только чайки вопят к непогоде.

Вечером заповорачиваются на крыше флюгера, заплачет в трубе норд-вест. Мама охватит нас руками:

— Ох, деточки, что на море-то делается! Папа у нас там!..

Я утешаю:

— Мамушка, я, как вырасту, дальше Соломбалы не пойду в море.

А Соломбала — часть того же Архангельска.

Не одна наша мама печалилась. При конце навигации сидят где-нибудь, хоть на именинах, жены и матери моряков. Чуть начнут рамы подрагивать от морского ветра, сразу эти гости поблекнут, перестанут ложечки побрякивать, стынут чашки.

Хозяйка ободряет:

— Полноте! Сама сейчас бегала флюгера смотреть. Поветерь дует вашим-то. Скорополучно¹ домой ждите.

Зимой отец на берегу, у матери сердце на месте.

В листопад придут в город кемские² поморы, покроют реку кораблями.

Утром, не поспеет кошка умыться, к нам гости.

Однажды ждали в гости почтенного капитана, у которого было прозвище Мошкарь. У нас все прозвища придумывают, в глаза никогда не назовут, а по-за глаз дразнят. Мама с отцом шутя и помянули: «Вот уж Мошкарь придет».

Гость приехал и мне игрушку подарил. Я с подарком у него в коленях бегая, говорю:

— Я тебя люблю. Тебя можно всяко назвать. Можно дядей, можно дядюшкой. Можно Мошкарем, можно Мошкариком...

Ребачьим делом я не раз впросак попадал из-за этих несчастных прозвищ.

Годов пяти от роду видел я чью-то свадьбу. Меня угостили конфетами, и все это мне понравилось.

На нашей улице был дом богача Варгасова, которого за глаза прозывали Варгас. Я думал, это его имя. Вот на другой день после моей гостьбы вижу, он едет мимо на лошади. Я кричу из окна:

¹ Скорополучно — скоро и благополучно.

² Кемские поморы — жители западного берега Белого моря, где стоит город Кемь.

— Варгас, постой-ко, постой!

Он лошадь остановил, ждет, недоумевает...

Я выбежал за ворота.

— Варгас, вы, пожалуйста, вашу Еленку Варгасовну никому замуж не отдавайте. Я маму спрошусь, сам Еленку-то приду сватать.

А Еленке Варгасовой год ли, полтора ли от роду еще...

Помоложе Варгасовны была у нас с сестрой симпатия — Ульяна Баженина. Ряд лет жили мы в деревне Уйме, где зимовали мурманские пароходы. Понравилось нам с сестрой нянчить соседскую дочку, шестимесячную Ульянку. Ульянкина зыбка висела на хорошей пружине. Мы дернем вниз да отпустим, дернем вниз да отпустим. Ульянка рывкнет да вверх летит, рывкнет да вверх летит. Из люльки девка не выпадет, только вся девка вверх тормашками — где нога, где окутка, где пеленка... Няньки-то были, вишь, немножко постарше Ульянки.

Весной по деревне проходили странники. А взрослых часто нет дома. Соберется нас, малышей, в большой Ульяниной избе много, посидим и испугаемся, что странники придут нас есть. Вот и выставим к двери лопаты да ухваты — странников убивать. А чуть привидится что черное, летим кто под лавку, кто в подпечек, кто в пустой ушат. Сестренка дольше всех суетится:

— Я маленька, меня скоро съедят буки-ти!

По Уйме-реке лес. Там какой-то орды¹ боялись. Слышали, что охотники орду находят, а какая она, не видали.

Ягоды поспеют — отправимся в тундру по морошку. Людно малых идет.

Вдали увидим пень, сажени полторы, как мужик в тулупе:

— Ребята, звон де орда-та!

¹ О р д а — здесь: зверек из породы белок.

Испугаемся, домой полетим. А орда вся-та с белку, вся-та с векшу, пестрая. Орда не покажется людям, только собаки находят.

Конец зимы уемляне все у корабельного, у пароходного ремонта. Мелкие с утра одни дома. Мы в Ульяновской избе все и гостим, куча ребят трех-шести лет. Что у старших видели, то и мы: песни поем, свадьбы рядим — «смотренье, рукобитье, пониманье». Девчонки у матерей с кринок сливок наснимают, ходят, кланяются, угощают — честь честью, как на свадьбе...

Эти отдельные картинки раннего моего детства мне позже мама и тетка рассказывали. Ну, что позже творилось, сам помню.

Ко всему, что глаз видит и ухо слышит, были у нас, у ребят, присказки да припевки. И к дождю, и к солнцу, и к ветру, и к снегу, и к зиме, и ко всякой ползучей букашке, и летучей птице.

Вот, к примеру, в зимние вечера, перед ночлегом, летают над городом стаи ворон. Ребята и приправят¹ кричать:

— У задней-то вороны пуля горит! Пуля горит!..

Мы уверены были, что именно эти наши слова производят среди ворон суматоху, так как ни одна не хочет лететь задней.

Я постарше стал, меня дома читать и писать учили.

Отец рисовать был мастер и написал мне азбуку, целую книжку.

В азбуке опять корабли, и пароходы, и рыбы, и птицы — все разрисовано красками и золотом. К азбуке указочка была костяная резная.

Грамоте больше учила мама. Букву А называла «аз», букву Б — «буки», В — «веди», Г — «глаголь», Д — «доб-

¹ Приправить — приняться.

ро». Чтоб я скорее запомнил, шутя говорила, что начертанья А и Б похожи на жучков, буква В — будто таракан, Г — крюк...

Для памяти я и декламирую:

Аз, буки — букашки,
Веди — таракашки,
Глаголь — крючки,
Добро — ящички.

И другие стишки про буквы:

Ерь (ь), еры (ы) — упал с горы.
Ерь (ь), ять — некому поднять.
Ерь, ю — сам встаю.

Азбуку мне отец подарил к Новому 1902 году, поэтому вначале было написано стихами:

Поздравляю тебя, сын, с Новым годом!
Живи счастливо да учись.
Ученый водит,
Неученый следом ходит.
Рано, весело вставая,
Заря счастье кует.
Ходи право,
Гляди браво.
Кто помоложе,
С того ответ подороже.
Будь, сын, отца храбрее,
Матери добрее.
Живи с людьми дружно,
Дружно — не грузно,
А врозь — хоть брось!..

Отец, бывало, скажет:

— Выучишься — ума прибудет.

Я таким недовольным тоном:

— Куда с умом-то?

— А жизнь лучше будет.

Весной выученное за зиму бегали писать на гладком береговом песке.

В городе я поступил в школу, уже хорошо умея читать и писать.

Больше всего успевал я, учась, в языках, совсем не давалась математика; из-за нее не любил я школы, бился зиму, как муха в паутине. Жизнь была сама по себе, а наша школа сама по себе. Город наш стоял у моря, а ни о Севере, ни о родном крае, ни о море никогда мы в школе не слышали. А для меня это всегда было самое интересное.

С ребятами сидим на пристанях, встречаем, провожаем приходящие, уходящие суда да поем:

У папы лодку попросил,
Папа пальцем погрозил:
— Вот те лодка с веслами,
Мал гулять с матросами!..

Или еще:

Пойду на берег морской,
Сяду под кусточек.
Пароход идет с треской,
Подает свисточек.

Насколько казенная наука от меня отпрядывала¹, настолько в море все, что я видел и слышал, льнуло ко мне, как смола к доске.

МИША ЛАСКИН

Это было давно, когда я учился в школе.

Тороплюсь домой обедать, а из чужого дома незнакомый мальчик кричит мне:

¹ Отпрядывать — отскакивать.

— Эй, ученик! Зайди на минутку!

Захожу и спрашиваю:

— Тебя как зовут?

— Миша Ласкин.

— Ты один живешь?

— Нет, я приехал к тетке. Она убежала на службу, велела мне обедать. Я не могу один обедать. Я привык на корабле с товарищами. Садись скорее, ешь со мной из одной чашки!

Я дома рассказал, что был в гостях у Миши Ласкина. Мне говорят:

— В добрый час! Ты зови его к себе. Слышно, что его отец ушел в дальнее плавание.

Так я подружился с Мишей.

Против нашего города река такая широкая, что другой берег едва видно. При ветре по реке катятся волны с белыми гребнями, будто серые кони бегут с белыми гривами.

Однажды мы с Мишей сидели на берегу. Спокойная река отражала красный облачный закат. С полдюжину ребят укладывали в лодку весла.

Старший из ребят кричал:

— Слушать мою команду! Через час всем быть здесь. Теперь отправляйтесь за хлебом.

И они все ушли.

Миша говорит:

— Это они собрались за реку на ночь. Утром будут рыбу промыслять. А домой не скоро попадут. Глупый ихний капитан — не понимает, что если небо красно с вечера, то утром будет сильный ветер. Если говорить, они не послушают. Надо спрятать у них весла.

Мы взяли из лодки весла и запихали их под пристань, в дальний угол, так, что мышам не найти.

Миша верно угадал погоду. С утра дул морской ветер. Кричали чайки. Волны с шумом налетали на берег. Вчерашние ребята бродили по песку, искали весла.

Миша сказал старшему мальчику:

— Забрались бы вы с ночи на тот берег и ревели бы там до завтра.

Мальчик говорит:

— Мы весла потеряли.

— Весла я спрятал.

Как-то раз мы пошли удить рыбу. После дождя спуститься с глиняного берега было трудно. Миша сел разуться, я побежал к реке. А навстречу Вася Ершов. Тащит на плече мачту от лодки. Я не дружил с ним и кричу:

— Вася Ерш, куда ползешь!

Он зачерпнул свободной рукой глины и ляпнул в меня. А с горы бежит Миша. Вася думает: «Этот будет драть-ся», — и соскочил с тропинки в грязь.

А Миша ухватил конец Васиной мачты и кричит:

— Зачем ты в грязь залез, дружище? Дай я помогу тебе.

Он до самого верху, до ровной дороги, нес Васину мачту. Я ждал его и думал: «Миша только и глядит, как бы чем-нибудь кому-нибудь помочь».

Утром взял деревянную парусную лодочку своей работы и пошел к Ершовым. Сел на крыльцо. Вышел Вася, загляделся на лодочку.

Я говорю:

— Это тебе.

Он улыбнулся и покраснел. А мне так стало весело, будто в праздник.

Однажды мой отец строил корабль недалеко от города, и мы с Мишей ходили глядеть на его работу. В обеденный

час отец угощал нас пирогами с рыбой. Он гладил Мишу по голове и говорил:

— Ешь, мой голубчик.

Потом нальет квасу в ковшик и первому подаст Мише:

— Пей, мой желанный.

Я всегда ходил на стройку вместе с Мишей. Но однажды я подумал: «Не возьму сегодня Мишку. Умею с кем поговорить не хуже его».

И не сказал товарищу, один убежал.

Корабль уже был спущен на воду. Без лодки не добраться. Я с берега кричу, чтобы послали лодку. Отец поглядывает на меня, а сам с помощниками крепит мачту. А меня будто и не узнает.

Целый час орал я понапрасну. Собрался уходить домой. И вдруг идет Миша. Спрашивает меня:

— Почему ты не зашел за мной?

Я еще ничего не успел соврать, а уж с корабля плывет лодочка. Отец увидел, что я стою с Мишей, и послал за нами.

На корабле отец сказал мне строго и печально:

— Ты убежал от Миши потихоньку. Ты обидел верного товарища. Проси у него прощенья и люби его без хитрости

Миша захотел украсить место, где строят корабли. Мы начали выкапывать в лесу кусты шиповника и садить на корабельном берегу. На другое лето садик стал цвести.

Миша Ласкин любил читать и то, что нравилось, переписывал в тетрадь. На свободных страницах я рисовал картинки, и у нас получалась книга. Книжное художество увлекло и Васю: он писал, будто печатал. Нам дивно было, какие альбомы получают у Миши из наших расписных листов.

Книги, и письмо, и рисование — дело зимнее. Летом

наши думы устремлялись к рыбной ловле. Чуть зашепчутся весенние капли, у нас тут и разговор: как поплывем на острова, как будем рыбку промыслять и уток добывать.

Мечтали мы о легкой лодочке. И вот такая лодка объявилась в дальней деревушке у Мишиных знакомцев. Миша сам туда ходил еще по зимнему пути. Лодка стояла не дешево, но мастеру понравился Мишин разговор, Мишино желание и старание, и он не только сбавил цену, но и сделал льготу: половину денег сейчас, половину — к началу навигации.

Отцы наши считали эту затею дорогой забавой, однако, доверяясь Мише, дали денег на задаток.

Мы с Васей ликовали, величали Мишу кормщиком и шкипером, клялись, что до смерти будем ему послушны и подручны.

Перед самой распутой зашли мы трое в рыбопромышленный музей. Любуемся моделями судов, и Вася говорит: — Скоро и у нас будет красовитое суденышко!

Миша помолчал и говорит:

— Одно не красовито: снова править деньги на отцах. Вздыхнул и я:

— Ох, если бы нашим письмом да рисованием можно было заработать!..

Мы не заметили, что разговор слышит основатель музея Верпаховский. Он к нам подходит и говорит:

— Покажите мне ваше письмо и рисование.

Через час он уж разглядывал наши модельные издания.

— Великолепно! Я как раз искал таких умельцев. В Морском собрании сейчас находится редкостная книга. Ее надобно спешно списать и срисовать. За добрый труд получите добрую цену.

И вот мы получили для переписывания книгу стогадоваую под названием «Морское знание и умение».

В книге было триста страниц. Сроку нам дано две недели. Мы рассудили, что каждый из нас спишет в день десять страниц. Трое спишут тридцать страниц. Значит, переписку можно кончить в десять дней.

Сегодня, скажем, мы распределили часы работы для каждого, а завтра с Мишей Ласкиным стряслась оказия.

Он для спешных дел побежал к отцу на судно. У отца заночевал, а ночью вешняя вода сломала лед, и началась великая распута. Сообщения с городом не стало.

Люди — думать, а мы с Васей — делать.

— Давай, — говорим, — сделаем нашему шкиперу сюрприз, спишем книгу без него.

Так работали — недосуг носа утереть. Старая книга была замысловатая, рукописная, но вздумаем о Мише — и на уме станет светло и явится понятие. Эту поморскую премудрость втроем бы в две недели не поднять, а мы двое списали, срисовали в девять дней.

Верпаховский похвалил работу и сказал:

— Завтра в Морском собрании будут заседать степенные¹, я покажу вашу работу. И вы туда придите в полдень.

На другой день мы бежим в собрание, а нам навстречу Миша:

— Ребята, я книгу разорил?

— Миша, ты не разоритель, ты строитель. Пойдем с нами.

В Морском собрании сидят степенные, и перед ними наша новенькая книга. Миша понял, что работа сделана, и так-то весело взглянул на нас.

Степенный Воробьев, старичище с грозной бородищей, сказал:

¹ Степень — ступень; стать на ступени — стать на ступени; степенные — здесь: члены правления.

— Молодцы, ребята! Возьмите и от нас хоть малые подарочки.

Старик берет со стола три костяные узорные коробочки, подает Мише, мне и Васе. В каждой коробочке поблескивает золотой червонец. Миша побледнел и положил коробочку на стол.

— Господин степенный, — сказал Миша, — эта книга — труд моих товарищей. Не дико ли мне будет взять награду за чужой труд?

Этим словами Миша нас как кнутом стегнул. Вася скривил рот, будто проглотил что-то горькое-прегорькое. А я взвопил со слезами:

— Миша! Давно ли мы стали тебе чужие? Миша, отнял ты у нас нашу радость!..

Все молчат, глядят на Мишу. Он стоит прям, как изваяние. Но вот из-под опущенных ресниц у него блеснули две слезы и медленно покатались по щекам.

Старичище Воробьев взял Мишину коробочку, положил ему в руку, поцеловал всех нас троих и сказал:

— На дворе ненастье, дождик, а здесь у нас благоуханная весна.

С тех пор прошло много лет. Я давно уехал из родного города. Но недавно получил письмо от Михаила Ласкина. В письме засушенные лепестки шиповника.

Старый друг мне пишет:

«Наш шиповник широко разросся, и, когда цветет, весь берег пахнет розами»,

ПОКЛОН СЫНА ОТЦУ

Отец мой берегам бывалец, морям проходец, ленивой и спокойной жизни не искал.

От юности до старости жизнь его прошла в службе Студеному морю. В звании матроса, затем штурмана и шкипера ходил в Скандинавию и на Новую Землю. Имел степень «корабельного мастера первой статьи». Ряд лет состоял главным механиком Мурманского пароходства.

Мы видели отца дома, в Архангельске, только зимою. Прибежит в обед с верфи или из «Мурманских мастерских». Для спеху уж все на стол поставлено. И убежит — не убрано: «Мне некогда. Машину пробуем...»

За ужином ушки хлебнет, а рыбы не может:

— Я устал. Я лягу.

Жизнь скоро скажется, а трудно тянется...

Я еще мал был, беда стряслась над нами, у отца жилы с правой руки машиной обрало, и до смерти пальцы худо разгибались.

Еще помяну дни горя, когда с маяка телеграмма в город пришла:

Пароход «Чижов» у Зимнего берега разбит».

А на «Чижове» отец ходил... Однако не судьба была тогда погибнуть. Отец спасся с командой.

Зимой в свободный час он мастерил модели фрегатов, бригов, шхун. Сделает корпус как есть по корабельному — и мачты, и рен, и паруса, и якоря, и весь такелаж. Бывало, мать только руками всплеснет, когда он на паруса хорошую салфетку изрежет.

Лет семи начал я у отца проситься в море, а он не внимал:

— Рано тебе, свет, рассол морской пробовать. Лучше тебе мама кофейку нальет.

— Я рыбу хочу промышлять.

— Вот и промышляй у себя ложкой в тарелке.

Только на десятом году попал я в море до Мурмана.

Иной раз ранней весной или поздней осенью пойдет отец на бор поохотиться, тут я ему закаблучье обступал. Отец был хороший стрелок, отроду с ружьем, и я юн забегал с дробовкой. С компасом и часы по солнцу узнавать отец меня выучил. Ступаем по мху, по мягким оленьим путикам, и он мне рассказывает о зверях, о птицах, о рыбах, как они живут, как их добывают, как язык животных понимать...

Только пустых бесед и разговоров не терпел. Скажет:

— Праздное слово сказать — все одно, что без ума камнем бросить. Берегись пустопорожних разговоров, бойся-перебойся пустого времени — это живая смерть... Прежде вечного покоя не почивай... Слыхал ли, поют:

Лежа — добра не добыть,
горе не избыть,
чести и любви не нажить,
красной одежды не носить.

И еще скажу — никогда не печалься. Печаль как моль в одежде, как червь в яблоке. От печали — смерть. Но беда не в том, что в печаль упадешь; а горе — упавши, не встать, но лежать. А и смерти не бойся. Кабы не было смерти, сами бы себя ели...

А и веселье подойдет, отец и того не хоронится. С мореходами за стол сядут, запоют песни, захохочут — аж посуда в шкафу звенит. У Ледовитого океана, у грозного промысла без шуток да без песен и век проживешь — не усмехнешься.

А отец много на веку работы унес, много поту утер на зною у машины, на людей тружаяся. Не давая себе покоя ни в дни, ни в ночи.

В Мурманском доке у отца был кочегар — парнишка недавно из деревни. Ночью на работе его в сон склонит у топки. Отец своего отдыха час-другой оторвет, спящего заменит:

— Молод бедной... мне эдак-то с мала пришлось... Теперь легче, теперь двенадцать часов. А пускай поспит.

Среди зимы на пятьдесят пятом году жизни отец заболел, но работы ни в доке, ни в мастерских не оставлял, торопясь наладить судовые машины к навигации.

Конец апреля того же года пароходы засвистели, в море пошли, а мы снесли мужественное отцово тело на вечный отдых.

Отец говаривал: «Свыше поморских книг я ничему и не учился».

Эти рукописные книги содержали, между прочим, северное «морское знание».

Внешние люди спросят, бывало: «Многие ли они, эти морские книги?» И отец ответит: «Теперь они немногочисленны, но и в оставших немногих словесах вложен много разум».

СТАРЫЕ СТАРУХИ

На Севере принято долго жить. Но стогодовалые старухи бывают хуже малых ребят.

«Домоправительница» наша Наталья Петровна привыкла в деревне с лучиной сидеть — у них свадьбы при лучинах рядят, — керосиновой лампой пренебрегала. Откопала в чулане древний светец, сидит — прядет или шьет — у лучины.

— То ли дело соснова лучинушка! Сядешь около — светло и рукам тепло. И хитрости никакой нету. Нащипал хоть воз и живи без заботы. Лес везде есть... А керосин — вонюща от него, карману изъян, на стекла расход, пожары, лампу от ребят храни... Люблю свет, который сама сделала.

Сама с сеновала к коровам идет — лучина в зубах пластает¹, сено в охапке.

— Петровна, дом спалишь!

— Вы с лампами не спалите.

Наконец провели у нас электричество. Тут объявила протест тетенька Глафира Васильевна, отцова сестра. Над головой у нее сияет «осрам», а на столе, у самого носа, — керосиновая лампа:

— Не сравню настоящего огня с вашими пустяками. То ли дело керосиновая лампа — тепло, удобно, куда сдумал, туда с ней и гуляй. А этот фальшивой пузырь чуть что — и умер... На той неделе у нас погасло, и у Люрс погасло, и по всему проспекту погасло. Полгорода на бубнях осталось... А уж Лампияда Керосиновна не выдаст... лампу ли, свечу зажигаешь — сначала аккуратненький огонек, потом разгорится, а тут выскочит свет — так и дрогнешь... Люблю огонь, который сама зажгла.

При двух-то лампах тетка со своей подружкой Татьяной Федоровной Люрс в карты играют... Обeim по восемьдесят лет, обе глухи, ссорятся каждую минуту. Гостья первая забунчит:

— Горе мне с глухой тетерей! Врет — глазом не мигнет. Последний раз играю!

И Глафира Васильевна не поддается:

— Беда с теми играть, которые из ума выжили!

Одна другую не слышит, им и не обидно.

¹ Пластать — здесь: гореть широким, сильным пламенем.

Утром тетенька станет на молитву. В землю поклонится — и вдруг ахнет:

— Вот он! Вот он, бубновой-то король!.. Под люрси-хиным стулом лежит. Вчера думаю — куда козырь девался, а эта шельма его под себя срыла. Недаром и выиграла!

Положит карту на стол и продолжает молиться.

То опять, поклонясь в землю, обидится, что пол худо вымыт... Высмотрит, что пыль под комодом не вытерта...

Раз под праздник вечером, вымытый пол только что высох, тетенька перебирала чернику на пирог. Ягоды на пол сыплются, тетка не слышит, только видит — бегут по полу черные катышки. Подумала — тараканы, давай давать. Испортила пол — чернику не скоро выживешь.

Татьяне Федоровне Люрс пришла однажды фантазия помыться у нас в бане. Своя была у нас банька на огороде. А там как раз парилась дева Гризельда. И видит вдруг Гризельда: лезет из предбанника чудо, стуча клюкой, косматое, скрюченное... Умная девка сразу смекнула, что это — «банна обдериха», заверещала не по-хорошему, да в чем мать родила — на улицу... Девку водой холодной обрызгивают, она — свое:

— О, тошнехонько! Я моюсь, а обдериха из-под полка и вышла!..

Жених Гризельды, Егорша, как настоящий рыцарь, схватил топор, дует обухом в банную дверь да орет:

— Где ты, обдериха? Зашибу!

Татьяна Федоровна ничего не уяснила, слышит, что в двери бухают, думает: замок чинят. Как голубушка вымылась, села с Глафирой Васильевной кофей пить («первые восемнадцать чашек без сахара»). Пьет и в зеркало на себя любится:

— Я сегодня рогозинной мочалкой вымылась, дак мяконька стала... Помнишь, Глафира Васильевна, какой кавалерчик норвежкой на мне сватался?!

— А?

— Помнишь, говорю, на мне толстик сватался норвежин?..

— Медвежин?

— Тьфу! Молчи, глуха, меньше греха... К счастью, дворник паспорт рассмотрел. Кавалер-от оказался женой!..

Нашей Наталье Петровне мадам Люрс заказывала и свое «умершее» платье:

— Сошьешь, Петровна, саван, как положено по уставу, только кружева и рюш, и воланчики добавишь, и чтобы сзади прорехи ни в коем случае не было. Может, на страшном суде генерал или другая благородная личность сзади будет стоять...

И тетеньку, и мадам Люрс я нередко фотографировал. Они к этому относились саркастически:

— Боря-то зря аппаратом треплет, вовсе снимать не умеет. Столько морщин наделает, вроде обезьян. Ужаси как непохоже!.. Помнишь, Глафира Васильевна, мы с тобой у француза снимались... Как живые вышли. И не так давно было, в Турецкую войну... Только Боре-то не надо говорить, что не умеет... обидится. Бог с ним...

А сама кричит одна другой в ухо, на улице слышать.

Мамина мать Олена Кирилловна на моей памяти уже вдовела. И ее помню на девятом десятке. У них после деда оставалась парусная мастерская. Бабушка иногда выйдет к мастерам с тростью, в повойнике, в черном шерстяном сарафане. Если ей тотчас поддержут стул, обидится:

— Думаете, хлам старуха стала, с ног валится, песок сыплется... Нет, еще жива маленько. Еще шалнеры гнутся... это вам все бы сидеть да лежать, а мне не до сиденья. У меня делов — на барже не утянуть!..

Опять непременно обидится, если зашла да стул моментально не подали:

— У нынешней молодежи нет уважения к возрасту. Сами, как гости, на стульях сидят, а старой человек стой перед ними на вытяжке, как рекрут на часах...

Застучит тростью, уйдет.

Лет восьмидесяти двух бабушка Олена Кирилловна худо увидела. Оба сына ее и внуки всю навигацию — в море, невесткам скучно с полуслепой свекровью. Придумают пошутить над ней, бойкая Аниса прибежит с рынка да и спросит старуху:

— Аниса-та где у вас?

Бабушке ни к чему, что невестка про себя же спрашивает:

— Убежала в рынок на минуту, да и провалилась. Верно, чай да кофеи с пароходскими распиват.

— Давно ушла?

— Часа два, поди... Пока у тех кофейники-ти скипят...

В другой раз другая невестка, жена дяди Петра, вводит старуху в заблуждение.

Сядет рядом.

— Олена Кирилловна, как поживаете? Невестки-ти каковы?

— Ничего невестки.

— Лучше-то котора?

— Обе хороши.

— Котора-нибудь лучше уж?

У бабки на лице появляется заговорщицкая мина. Хрипит в ухо вопрошающей:

— Петькина-та уж не совсем... не очень... (а «петькина» с нею и разговаривает).

— Кофейком уж не угостит...

— Бабенька, да ты целый день за кофейником!

— Свой пью. Никому дела нет...

Старухи у нас собачек около себя не держали, а курочку — непременно.

У Олены Кирилловны курочка Хохлатка тоже áредовы веки¹ доживала. Вся облезла, только на крыльях да на ногах пучки перьев. Полуслепая бабушка по старой памяти считала Хохлатку красавицей:

— Курочка не так чтобы молода, а оперенье какое пышное! Доктор Магнус Ерикович всегда удивлялся.

Голая Хохлатка, сидя на спинке громадной кровати, утвердительно вторит:

— Ко-ко-ко-ко-ко...

Мы жили в городе, бабушка на Соломбальском острове. Погостим у них день, вечером зайдем к старухе проститься:

— Бабушка, прощай!

— Какой такой среди ночи чай?!

И Хохлатка оттуда, из-за полога, сердито:

— Ко-ко-ко-ко-ко...

Восьмидесятипятилетней Олене Кирилловне сняли катаракт, и она опять увидела: однако, потрясенная операцией, захворала... Наконец доктор объявил, что минуты сочтены. Болящую торжественно отсоборовали. Реву было у домочадцев, причитания:

— Ты промолви нам последнее словечушко!

..... , .

Болящая раба божия молчала, глаз не открывала...

Поднесли ко рту зеркало — дышит ли?..

Раба божия ловко смахнула зеркало на пол и открыла один глаз:

— Попов сколько было? Выдать по пятишнице на плешь. Пели умильно.

..... , .

¹ Аредовы веки (Аред — мифическая личность, упоминаемая в Библии, достопамятная удивительным своим долголетием) — народное русское выражение удивительного долголетия, равнозначное с мафусанловыми веками.

Наша Петровна воротилась домой ночью, опять запричитала:

В печи вода поставлена
Олену Кирилловну оmyвать.
Ох, деточки, бабушка у вас
Тепере часова,
Не векова...

Утром Наталья Петровна надела черный костыч¹ с белыми рукавами, взяла Псалтырь, отправилась над «покою» читать... Пришла, дверь к бабушке открыта, а так ни в чем не бывало сидит у окошка, шьет... Косо так на Петровну посмотрела:

— Ты куда, могильна муха, срядилась? Что за пазуху-то пихаешь?

— В баню пошла... к вам забежала...

— Давно ли в городу-то бань не стало, в Соломбалу мыться пришла?!

Но Петровнин и след простыл.

Однако через три года Олена Кирилловна заумирала не шутя.

Дочери говорят:

— Мама, мы батюшку пригласили.

— Созвали бы старух из Амбурской пустыни. Поп-то «ба-ба-ба» — да и все. А наши-то старухи за рублевку три часа поют да поют.

Однако иерей явился:

— В чем грешна, раба божия?

— Ну, батько, ты и толст, сала-то, сала! Ты светло загорись в аду-то.

— Тебя саму за эти слова в муку!

¹ Костыч — косоклиный, с застежками на переду сарафан староверок.

— Я тоща, я худо загорю, головней возьмусь, да и... Ох, кабы кучей мучиться-то... Все бы веселее...

— Раба божия, я буду тебя исповедовать, ты отвечай

— Нет, ты мне отвечай! Вот скажи: кто меня так крепко со всех сторон пожалеет, так обнимет, что уж не вывернешься?

Священник недоумевает, все молчит...

Старуха рассмехнулась.

— Могила, кто же больше... Ну, простите. Не велю вам скучать.

Тут и все.

А тетка Глафира Васильевна, умирая, сказала:

— Не хочу больше на Севере репу есть. Поеду по яблоки в южные страны.

МУРМАНСКИЕ ЗУЙКИ

Зуек, или зуй — наша северная птичка вроде чайки. Где рыбная ловля, где чистят рыбу, там кружатся зуйки. Зуйками называют в Поморье и мальчиков, идущих на Мурман в услужение — обед готовить, посуду мыть, рыболовные снасти сушить. Работы много, работа тяжелая, и больше всего в зуйки шли сироты, у кого отца нет. В Поморье мурманские тресковые промыслы — самое главное. И вот у бедной матери была одна забота: чтобы сынишка семье помог и к работе привык. Хорошего, опытного промышленника мать со слезами просит взять сына поучиться тяжелому делу мурманскому.

Плата бывала зуйку за лето, кроме содержания — еды и одежды, — пятьдесят рублей деньгами, десять пудов рыбы соленой, пять пудов сушеных тресковых голов.

Хорошо, если распоряжается на судне дядя или иной кто, близкий мальчику, а у чужих людей трудно. Лет с десяти, с десяти повезут в море работать навывать. Ходили зуйки и у отца, и брата на корабле. Таким полдела.

Корабли поморские в море идут, когда оно очистится от льда. Перед походом дома — отвальный стол, проводинный обед. Накануне зук бегают, зазывает гостей. Зайдет в избу, поклонится и скажет:

— Хозяин с хозяйшкой, пожалуйста к нам на обед. Милости просим! Милости просим!

Во время пированья зуйки столъничают и чашничают сшитыми полотенцами через плечо. Столъники режут хлеб и угощают, чашники разносят братыни с квасом и брагой. Обедает зук с хозяйкой после гостей.

Во время стола кто-нибудь в котелок, в дно, постучит, скажет:

— Батюшко, припади!

Это просят ветра посильнее припасть, дунуть.

Перед последней переменной мать, в первый раз провожающая сына в море, прощается с ним. Не знает, как назвать, как пожалеть. Тихонько гладит мальчика по голове шелковым платочком и плачет, и поет:

Сизенький мой соколочек,
Миленький голубочек,
Скатна моя жемчужина,
Желанное мое дитятко!
Беззаботные годочки прокатились,
Беспечальные денечки миновались!
Не в доцвете траву шелкову
С поля убираю,
Не в доросте моего рожного
В работушку провожаю...
Всхожее ты мое солнышко,
Свеча ты моя воскоярова!
Твоя молоденька головушка заподумывает,
Ребяческо сердечушко запобаливает!

Вспомнит мать и младенческие годы сына:

Ты спал у меня, высыпался,
Ты ждал, дитя, дожидался
От отца веселого покликаньица,
От матери тихого побужаньица,
От брателка ключевой воды,
От сестрицы полотенышка.

У наших поморов слово слово родит, третье само бежит.
Слушая мать, и парнишка всплакнет.

После обеда на жальник сходят — на кладбище — с родными проститься.

На пристань идут, каждому нищему подают:

— Нате-ко на поветерь.

И все встречаемые и поперечные отъезжающим поветери — попутного ветра — желают.

Зайдут на корабль, сходни уберут, якоря выкатают, ветер паруса наполнит. Сделает рулевой поворот кораблем на восток в честь солнца, и зашумят, рассыпаясь, встречные волны.

Брызнет зуйку в лицо крепким морским рассолом — и вся грусть забудется. Которая слеза и катилась, та назад воротилась. В море простор, ширь, свет. Любо в море!

Матрос песню запоем, в гармонь заиграет: смотришь, за кораблем тюлень молодой плывет. Головочка у него черненькая, взгляд умильный, ручками он перебирает, песни слушает. Под самым носом корабля белуха белобрюхая, зверь морской ростом с корову, любит перевертываться да играть. Пробку свою оттыкает, из зашейка фонтаны водяные пускает, что кит. Чайки долго за кораблем в море летят, провожают. Это поморы любят, хлеб им бросают. К хорошей погоде чайка в голомень¹ летит.

¹ Голомень, голомя — открытое море.

Бежит корабль, воздух веселый, паруса говорят, чайки кричат. Зуйки уж за работой, канат старый для конопатки шиплют, снасти разбирают... В далях морских другой кораблик блеснет парусом, ровно чайка крылом. Надо с ним поморским обычаем поздороваться. Капитан берет медную, посеребренную трубу-рупор и кричит:

— Путем-дорогой здравствуйте!

Те отвечают:

— Здорово, ваше здоровье, на все четыре ветра!

Мы опять:

— Куда путь-дорогу правите?

Ответ уж издалека донесет:

— Из Стокольма в Архангельской!..

Какой-нибудь матрос-молодожен схватит трубу да крикнет тем, идущим в Архангельск:

— Агафье моей расскажите, что меня встретили.

Зуйки опять за делом: медные котлы начищают. Чайки на берег воротились. Кругом небо да вода,

Летом благодать в море, а осенью, в туман, страшно. Туман такой навалит, хоть топором руби. В океане, где временем иностранных судов много, бывают и столкновения. Когда поморы в шнеках плывут, в чугунную доску бьют, а заслышав стук машины или свисток, кричат со всей силы:

— Не сгубите-е!!!

Тошно в море — земля и небо стонут.

Самое опасное место в туманы — Горловина, выход Белого моря в океан. Тут всегда волнение, толкунцы.

Выбежит шкуна из Белого моря, тут во все стороны Ледовитый океан. Когда корабль идет на Печору или на Новую Землю, поворачивают направо, на восток. А Мурман пойдет на запад, влево. Мурманский берег скалистый. Горы черные древние, как медведи, лежат. Тут взводень, вал морской, горой ходит, песок со дна воротит. Кораб-

лик в оксане, как чаечка маленькая. И подвигается на него «девята» — девятый вал, что всех больше. Вал черный, гребень белый — кружево белое на черном бархате. Ну, думаешь, сейчас закроет, и все тут... Ан нет! Подымет кораблик этим валом, качнет на гребне, как мать ребенком поиграет, да и спустит вниз. Только сердце екнет да в животе холодно. А впереди другой вал, тоже с дом величиной. Как кони вороные с седыми гривами, валы летят по океану.

Это кораблику не беда, когда ветер попутный, в затылок, — горе, если со всех румбов заворачивает. В такую немилостивую погодушку корабельная команда по нескольку суток не спит и не ест.

Кудлатый долгобородый помор-капитан и тут не ударит в грязь лицом. Он ревет у руля медведем на молодых помощников:

— К снастям, други, к снастям!.. Что полтинники-то на меня выкатили? Крепче кливер¹. Рочи шкот!..² Ух, керосином бы вас облить да сжечь! Ух, вы-ы!..

Среди зуйков бывали тоже продувные ребята, во всяких положениях выгоду себе находили. Таков бывал Владимирко Бельских. Он плавал у старого Сувора Окладникова на гальоте.

В непогодушку, когда старик-океан в тысячу труб трубит и кипит валами, Владимирко непременно подвернется разъяренному Сувору под руку. Ясно, хорошую затрещину и заработает. Кончится шторм, юнга Бельских ходит с подвязанной щекой.

Сувор к нему:

¹ К л и в е р — косой, треугольный парус на бушприте. Треугольных парусов этих бывает до четырех: первый снизу — форстаксель, потом — кливер, форстенгистаксель и бомкливер.

² Р о ч и т ь — зацепить, привязать, закрепить; ш к о т — снасть, которой натягивается нижний угол паруса.

— Ты что, Владимирко?
— «Что»! Глаз-то худо заоткрывался...
— Ну?.. Сгоряча-то, вишь, не разберешь. По шее бы надо.

— Себя бы бил по шее-то!

— Любя ведь, леший...

— «Любя»... Теперь как на берег сойду? Ни погулять, ни девкам показаться. Никотора на меня не обзарится.

— На экого винограда чтобы не обзарились! Да ты первый парень по деревне.

— «Первый парень»!.. А где наряды-то? Ты много ли нашил?

— Ужо, не ругай, подарю тебе манишку норвецку голубу.

Этот Окладников хороший был, а случилось на бедовых налетать. В шапке зук в каюту не зайди. Со старшим первый речь не заводи. Жди, когда заговорят.

Самодуры бывали среди поморов-судовладельцев. Все загоняют мальчугана. В свободный часок взгрустнется ему, он и запоеет печальную, долгую песню:

В чужих-то людях рано будят,
На работушку гонят до зари.
С той-то работушки рученьки
Болят по плечам.
Со воздыханьца грудь болит...

По Мурману богато становищами — фиордами. В каждой такой бухте есть поморский стан — летний поселок, где промышленники, прибежавшие на кораблях и пароходах с разных концов Архангельской губернии, ночевали и отдыхали. Взрослое население дни проводит в океане, добывая рыбу. Зуйки в океан выходят редко, их работа на берегу. Надо хлеб испечь, кашу сварить и уху, да и квас чтобы был. Вот идет у бедных ребят стряпня — рукава стряхня. Замажутся, припотеют, а все с песнями:

Сам толку,
Сам мелю,
Сам и по воду хожу.
Кашеварничаю,
Пивоварничаю!

Хлебы зуй катает — поет:

Уж и сею я муку
На полатах на боку!
Уж я по полу катаю,
По полавочью валяю.
На печи в углу пеку,
Когти-ногти обожгу!
Растворяю на дрожжах,
Вынимаю на вожжах.

Всего хуже ребятам хлебы печь.

Знаменитый капитан, архангельский помор Владимир Иванович Воронин, рассказывал: будучи зуйком, пришлось ему ставить хлебы в море на шкуне. Квашню емкостью в несколько ведер взгромоздил на полку, а завязал худо. Ночью пала непогода, шкуну закачало, ржаной опарой и начало устилать спящих промышленников, накатало и в их сапоги.

В другой раз у Володи Воронина хлебы вышли, как утюги, хоть ножи о них точи. Володя испугался, что дядя, хозяин шкуны, забранит, и потихоньку уплавил ковриги в море. А дядя и наехал на хлебы-то. Плынут ковриги рядышком, и чайки летят, поклевывают. Так грех и открылся.

В мурманских станах живут временно одни мужчины. За чистотой должны следить зуйки. В праздник, бывало, стряпают из белой муки, а выйдет вроде ржаного — лапы у поварят в саже. А все с песнями. Один поет:

Три дня печи не топил,
Много сору накопил.
Ложки вымыл,
Во щи вылил!

Другой припевает:

Косяки скребу,
Пироги пеку...

Ну, частенько ругаются, обижаются тоже, что работы много:

Кисни, квас,
С полу грязь.
Капитану
Вырви глаз!

Помню, в море дело было, на корабле. Капитан достался ребятам строжающий. Каково мальчишкам взаперти сидеть, когда старшие гуляют! Зато как привезут этого капитана с берега мертвецки пьяного да повалят спать ребята тихонечко танцуют около и припевают:

Как за эту выслугу,
Что нас на берег не выпустил,
Тебя трясло бы потряхивало.
Выше печи бы подбрасывало,
Под семью одеялами,
Под тремя покрывалами.
Тебе сквозь печь бы провалиться,
Во щях завариться,
Пирогом подавиться!

.

В глаза-то ведь не посмеют сказать ничего — хоть так, бедные, душу отведут.

Приход шнек и ел в становище возвещают своим криком чайки. Зуйки это слышат и торопятся, ног под собой не чувят. Как старшие с делами покончат, зуйки кричат с порога поварни:

— Кормщики с рядовыми, пожалуйста хлеба ись!

Надо вежливо звать. Летает этакий чумазый кок по становищу, ищет своих, рвется в куски, горячится, что обед остынет, а кричит честно:

— Господа промышленники наши, милости просим обедать!

Про себя-то всего насулит...

Стол обихаживать надо тоже умеючи. Со стен сажа, а без чистой, хотя бы холщовой, скатерти помор за стол не сядет. Пока из-за стола не встали, нельзя из чашек, мисок лить в поганое. Ужасно, если хлебная крошка упала на пол, ее скорей с поклоном поднимут. Во внеобеденное время посуда с едой должна быть покрыта, а порожняя опрокинута. Перед едой помор трижды окатывает руки водой. Руки поморы моют ежеминутно. Есть и бани в становищах, где моются раз или два в неделю. Баню тоже зук обязан истопить. У иного дровишки худящи, мозглящи, не горят, а только тышкаются. Другому воду носить лихо из горной речки или водопада.

Дразнят друг друга:

Витька баню топит,
Ситом воду носит,
Решето-то розно,
Он принес — порозно! ¹

Хуже всего тюки отвивать. Тюк — часть яруса океанской рыболовной снасти. В тюке четыреста метров длины. Тридцать связанных тюков составляют ярус, который и опускается в океан. После лова ярус опять развивается на тюки. Тут много дела и зуйкам. Тысячи лесок — форшней, тысячи крючков надо распутать. Руки ветром да морским рассолом ест, крючья остры, снасти мокры, скользки, ярусу конца нет. Сосчитай-ка, сколь долог ярус, если в ярусе тридцать тюков, а в тюке четыреста метров...

Отдыхают зуйки в дни океанского шторма. Суда вытаснены на берег, взрослые спят или, бывало, выпивают, бе-

¹ П о р о з н о — порожно, пусто.

седы собирают, песни поют, а зуйки в бабки, в городки играют, гуляют. Без песен тоже не живут. Много у зуйков забавных припевов:

Я вставал поутру-ввечеру,
На босу ногу топор надевал,
Топорищем подпоясывался.
Не путем, не дорогой шел —
Возле лыка гору драл.
Увидал на утке озеро,
Топором в нее шиб — недошиб;
Другой раз шиб — перешиб.
В третий раз попал, да мимо!
Утка всколыбалась, озеро улетело.

А то запоет кто-нибудь один:

Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.
По поднебесью сер медведь летит,
Он ушками, лапками помахивает,
Он черным хвостом принаправливает.

И все дружно подхватывают припев:

Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

А с горы корова на лыжах катится,
Ноги расширя, глаза выпуча.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

На дубу свинья гнездо свила,
Гнездо свила, деток вывела.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Малы деточки поросяточки
По сучкам сидят, по верхам глядят,
По верхам глядят, улететь хотят,

Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Таракан гулял сорок лет за печью,
Вдруг да выгулял он на белый свет.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Увидал таракан в лохани воду:
— А не то ли, братцы, море синее?
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Увидал таракан, из чашки ложками хлебают:
— А не то ли, братцы, корабли бегут?
Корабли бегут, на них гребцы гребут?
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина...

Мужики-поморы в свободный час тоже запоют. Выйдет к океану человек сорок эких бородачей, повалятся на утес, заложат руки за голову и подымут на голоса песню богатырскую. А седой океан будто пуще загремит, затрубит, подпевать человеку примется. Кто это слышал да видал, не забудет:

Ох, да во синем-то да во широком-то раздольице,
Ох, да подымалася погодушка немилостива.
А и плыли туры по синю морю,
Ох, да выходили туры на белы пески.
Ох, да им навстречу турица златорогая:
«Уж вы здравствуйте, туры,
Где вы были, что вы видели?» —
«А мы видели диво-дивное:
Не грозна туча затучилась
И не вихри в поле солетались,
Ох, да подымался Батый с Золотой Ордой
И со всею своею силою несметною...»

На мурманских пахтах — утесах — гнезятся тысячи тысяч птиц: гагар, чайк. У зуйков особый промысел и

статья дохода — собирать гагачий пух. Весной гагара сядет на каменный карниз, нащиплет у себя с груди пуху и в пух снесет яйца. Этот пух можно взять, гагара второй раз гнездо пухом своим выстелит. И второй пух можно собрать, гагара в третий раз нащиплет пуху. Этот пух нельзя тронуть: птица бросит все и навеки отсюда улетит.

Дома гагачий пух матери выпрядут на самопрялках и навяжут теплых платков, рубашек, колпачков, рукавиц.

Кроме пуху, собирают зуйки гагачьи яйца, большие, красивые, бледно-зеленые с крапинками. На вкус рыбой припахивают, не все любят.

И яйца брать, и пух собирать — промысел опасный. Скалы над океаном, как стены, стоят неприступны. Гнезда на узеньких карнизах, над глубокой пропастью, где кипит прибой. Как мухи по стене, ползают мальчуганы по утесам, через плечо мешок для пуху. И тут у гагар и чаек крику, стону, воплю — шума волн морских не слышно.

А дни — день за днем в работе, — как гуси, пролетают. Осень придет с темными ночами, холодными ветрами, и Мурман начнет пустеть. Летние гости — поморы поплывут на парусниках по домам.

Домой едучи, в праздную минуту удивляют зуйки, кто как может. Вот что творят: на верхушке мачты есть шарик — клотик. Назначают состязание: кто повернется на клотике, тому приз. Ловкий парнишка доберется до верхушки, ляжет там животом на шпиль, раскинув для равновесия руки, ноги, и вскружится в такой вершине, на полном ходу корабля, при качке. Внизу, на палубе, героя ждет награда: баранка или копеечная конфетка. Иногда калач повесят на конец реи (перекладина у мачты), и зуйки один перед другим ползут по качающейся рее, добывают эту награду. Такие вырастут, ничего потом не боятся.

Множество поморов заезжало в Архангельск на сентябрьскую ярмарку. У города столько бывало кораблей, что

воды не видно. Зуйки гуляют по архангельским улицам нарядные, в узорных вязаных рубашках или в синих матросках с шейными платками.

Экипажецка рубашка,
Норвецкой вороток;
Окол шеечки платок,
Словно розовый цветок!

Покончив дела в Архангельске, корабли плывут по деревням. Дома матери рады, сестры веселы. Собаки — Дружки, Бордики, Лыски, Копы — приезжим на грудь скачут.

ВАНЯ ДАТСКИЙ

У Архангельского города, у корабельного пристанища, у лодейного прибежища, в досельные годы торговала булками честна вдова Аграфена Ивановна. В летнюю пору судов у пристани — воды не видно; народу по берегам — что ягоды-морoshки по белому мху; торговок — пирожниц, бражниц, квасниц — будто звезд на небе. И что тут у баб разговору, что балаболу! А честну вдову Аграфену всех слышней. Она со всем рынком зараз говорит и ругается. Аграфена и по-аглицки умела любого мистера похвалить и обложить.

Горожане дивились на Аграфену:

— Ты, Ивановна, спишь ли когда? Утром рано и вечером поздно одну тебя и слышать. Будто ты колокол соборный.

— Умрем, дак выпимся, — отвечала Аграфена. — Я тружусь, детище свое воспитываю!

Был у Аграфены одинакий¹ сын Иванушко. И его наравне с маткой все знали и все любили. Не только своя Русь, но и гости заморские. Не поспеет норвежское суденышко кинуть якорь, Иванушко является с визитом, спросит: по-здорову ли шли? Его угощают солеными бишками — бисквитами, рассказывают про дальние страны.

Иванушко рано запросился у матери в море. Четырнадцать лет приступил вплотную:

— Мама, как хошь, благослови в море идти!

Мама заревела, как медведица:

— Я те благословлю поленом березовым! Мужа у меня море взяло, сына не отдам!

— Ну, я без благословенья убежу.

Ваня присмотрел себе датский корабль, покамест тот стоял у выгрузки-погрузки. Явился к капитану:

— Кэптен, тэйк эброд! (Возьмите с собой!)

У капитана не хватало матросов. Бойкий паренек понравился.

— Хайт ин зи трум! (Ступай в трюм!)

Ваня и спрятался в трюм. Таможенные досмотрщики не заметили его. Так и уплыл Аграфенин сын за море.

Аграфена не удивилась, что сын не пришел ночевать. Не очень беспокоилась и вторую ночь: «На озерах с ребятами рыбу ловит». Через неделю она вышла на весь рынок:

— Дитятко Иванушко! В Датску упорол, подлец!

И не было об Аграфенином сыне слуху двадцать лет...

Нету слез против материных. Нет причитанья против вдовьего. По утренним лазорям Аграфена выходила на морской бережок и плакала:

Гусем бы я была, гагарой,
Все бы моря облетела,

¹ О д и н а к и й — единственный.

Морские пути оглядела,
Детище свое отыскала.
Зайком бы я была, лисичкой,
Все бы города обскакала,
Каждую бы дверь отворила,
В каждое бы оконце заглянула,
Всех бы про Иванушка спросила...

А Иванушко за эти годы десять раз сходил в кругосветное плаванье. В Дании у него жена, родилось трое сыновей. Ребята просили у отца сказок. Он волей-неволей вспоминал материны песни-былины. Видно, скопились старухины слезы в перелетную тучку и упали дождем на сыновнее сердце.

Припевая детям материны перегудки, Ваня слышал материн голос, мать вставала перед ним как живая...

А Ивану было уже тридцать четыре года. Тут по весне напала на него печаль необычная. Идет Иванушко по набережной и видит — грузится корабль. Спрашивает:

— Куда походите?

— В Россию, в Архангельской город.

Забилось сердце у нашего детинушки: «Маму бы повидать! Жива ли?..» И тут же порядился с капитаном сплавать на Русь и обратно в должности старшего матроса.

Жена с плачем собрала Ваню в путь:

— Ох, Джон! Узнает тебя мать — останешься ты там...

— Не узнает. И я не признаюсь, только издали погляжу.

Дует пособная поветерь. Шумит седой океан. Бежит корабль, отворив паруса. Всплывают русские берега.

На пристанях в Архангельском городе людно по-старому. Точно вчера Иванушко бегал здесь босоногим мальчишкой... Теперь он идет по пристани высокий, бородатый. Идет и думает: «Ежели мама жива, она булочками торгует».

Он еще матери не видит, а уж голос ее слышит:

— Булочки мяконьки! По полу катала, по подлавочью валяла!

Люди берут, хвалят. И сын купил у матери булочку. Мать не узнала. Курчавая борода, одет не по-русски.

У пристани трактир. Ваня у окна сидит, чай пьет с маминой булочкой, на маму глядит...

Неделю корабль стоял под Архангельском. Ваня всякий день булочку купит, в трактире у окна чай пьет, на маму смотрит. У самого дума думу побивает: «Открыться бы!.. Нет, страшно: она заплачет, мне от нее не оторваться. А семья как!»

В последний день, за час до отхода, Ваня еще раз купил у матери булочку и, пока Аграфена разбиралась в кошельке, сунул под булки двадцать пять рублей.

Так, не признавшись, и отошел в Данию.

Аграфена стала вечером выручку подсчитывать — двадцать пять рублей лишних! Зашумела на всю пристань:

— Эй, женки-торговки! Кто-то мне в булки двадцать пять рублей обронил! Может, инглишмен какой полоротой?.. Твенти фэйф рубель!

Никто не спросил ни завтра, ни послезавтра.

После этого быванья прошла осень грязная, зима протяжная. Явилась весна разливно-красна. Закричала гагара за синим морем. Повевали ветры в русскую сторону.

Опять Иванушко места прибрать не может: «Надо сплавать на Русь, надо повидать маму».

— Ох, Джон! В России строго: узнает мать — не отпустит.

— Не узнает. Я не скажусь ей, только издали погляжу.

Опять он порядился на корабль старшим матросом и приплыл к Архангельскому городу. Идет в пароде по пристани. И мамин голос, как колокольчик:

— Булочки-хваленочки: сверху подгорели, снизу подопрели!

Ваня подошел, купил. Потом в трактире чай пьет, из окна глядит на маму. И жалко ему: постарела мама, рученьки худые... Упасть бы в ноги! Может быть, и простила, и отпустила!.. Нет, страшно!

Неделю корабль находился в порту, каждодневно сын у матери булочки покупал, а не признался. Только в последний день, перед отходом, сунул ей в короб пятьдесят рублей и ушел в Данию.

Аграфена стала вечером выручку подсчитывать — пятьдесят рублей лишних! Все торговки подивились:

— Что же это, Аграфена! Прошлый год ты у себя в булках двадцать пять рублей нашла, сейчас пятьдесят. Почто же мы ничего не находим? Уж не сын ли тебе помогает?

— А и верно, сын! Больше некому! — и заплакала. — Дитяtko мое роженое, почто же ты не признался! Поглядела бы я на тебя... Верно, уж большой стал. Дура я, детища своего не узнала! Теперь каждому буду в руки смотреть.

Таковым побытом опять год протянулся, с зимою, с морозами, с весною разливной. Веют летние ветры, кричит за морем гагара, велит Иванушке на Русь идти, мамку глядеть. Плачет жена:

— Ох, Джон! Я не держу тебя, только знай: не так я беспокоилась, когда ты на полгода уходил в Америку, как страшусь теперь, когда ты плывешь одним глазом взглянуть на мать...

Дует веселый вест, свистит в снастях Иванова кораблика. Всплывают русские берега... Вот сгремели якоря, опустились паруса под городом Архангельском. На горе стоят, как век стояли, башни Гостиного двора. Под горой сидит, как век сидела, булочница Аграфена. Теперь она

зорко глядит в руки приезжим морякам: не сунет ли кто денег в булки?

Иванушко тоже свое дело правит: у мамы булку купит, в трактире чай пьет, на маму глядит.

И в последний раз, как булку купил, сует матери в корзину сто рублей. А старуха в кошельке роется, будто сдачу ищет, а сама руки покупателя караулит.

Как он деньги-то пихнул, она ястребом взвилась да сцапала его за руки и разинула пасть от земли до неба:

— Кара-у-ул! Грабля-ят!!!

Ване бы не бежать, а он побежал. Его и схватили, привели в полицию.

Аграфена тихонько говорит приставу:

— Это не грабитель, это мой сын. Он мне сто рублей подарил. Он двадцать три года терялся. Я хочу, чтобы он сознался.

Пристав подступил к Ване:

— Признавайтесь, вы ей сын?

— Ноу, ноу! Ноу, андестенд ю!

Аграфена закричала с плачем.

— Как это «но андерстенд»? Не поверю, чтобы можно было отеческу говорю забыть... Иванушко, ведь я тебя узнала, что же ты молчишь!

Ваня молчит, как бумага белый. И все замолчали. А народу множество набилось. По рынку, по пристани весть, что Аграфена сына нашла. А она снова завопила:

— Ежели так, пушай он рубаху снимет! У него на правом плече три родимые пятнушка рядом.

Пристав приказывает Ивану:

— Раздевайтесь!

Тогда Ваня пал матери в ноги:

— Маменька, я твой сын! Только не губи меня, отпусти! У меня в Дании жена и трое сыновей. Вот тебе все мои деньги — пятьсот рублей. Возьми, только отпусти!

Аграфена застучала кулаком по столу:

— Убери свои деньги! Мне не деньги — мне сын дорог. Я без сына двадцать три года жила. Я о сыне двадцать три года плакала...

Заплакал и Ваня:

— Мама, пожалей своих внучат! Пропадут они без отца...

Заревели в голос и торговки:

— Аграфена Ивановна, отпусти ты его!

Аграфена говорит:

— Ладно, дитя, я тебя прощаю и отпускаю тебя. Только ты сними с божницы Спасов образ, сними своими руками и поклянись мне, что на будущий год сам приедешь и старшего внука мне на погляденье привезешь.

Действительно, на другой год привез старшего сына. Аграфена внука и зимовать оставила:

— Я внученька русской речи, русскому обычаю научу.

Мальчик пожил у бабушки год и уезжать не захотел. Ваня привез среднего сына. И этот остался у бабки, не пожелал лететь из теплого русского гнездышка. Тогда приехала жена Ванина с младшим сыном. И полюбилась кроткой датчанке мужнева мать:

— Джон, останемся тут! Здесь такие добрые люди.

Аграфена веселится:

— Вери гуд, невестушка. Где лодья ни рыщет, а у якоря будет.

Аграфенины внуки-правнуки и сейчас живут на Севере, на Руси.

По имени Вани, который бегал в Данию, и фамилия их — Датские.

ВОЛОДЬКА ДОБРЫНИН

У Архангельского города, у корабельного прибежища жила вдова Добрыниха с сыном. Дом ей достался господский, да обиход в нем после мужа повелся сиротский. Добрыниха держала у Рыбной пристани ларек. Торговала пирогами да шаньгами, квасом да кислыми штями. Тем свою голову кормила и сына Володьку сряжала.

Володька еще при отце вырос и выучился. Кончил немецкую навигацкую школу. Знал языки и иные свободные науки. Как отца не стало, он связался с ссыльными. Они уговорили Добрынина поставить к себе в подполье типографию печатать подкидные листы против власти и против царицы Катерины.

Володьке эта работа была по душе. Он стоял у станка, остальные пособляли.

И случилось, что один товарищ поспорил с ними и донес властям. А полиция давно на Добрынина зубы скалила, ногти грызла.

Однажды заработались эти печатники до ночи. Вдруг сверху звонок двойной — тревога. Ниже подполья подвал был с тайным выходом в сад. Володька вывернул аншпугом половицу:

— Спасайтесь, ребята!.. Лезь в тайник! А я останусь. Все одно человека доискиваться будут. Не сам о себе станок ходит...

Товарищи убрались, и только Добрынин половицу на место вколотил, полиция в двери:

— Один ты у станка?

— А что, вам сотню надо?

Повели Володеньку под конвоем.

Дитятка за ручку, матку за сердечко.

Плачет, как река течет. А сын говорит:

— Не плачь, маменька! За правое дело стою смело.
Конвойный рассмеялся:

— Какое же твое правое дело, мышь подпольная?
Володька ему:

— Ничего,ждемся поры, дак и мы из норы.

Его отдали в арестантские роты, где сидели матросы.

Близ рот на острове жил комендант. Дочь его Марина часто ходила в роты, носила милостыню. И сразу нового арестанта, кручинного, печального, оприметила, послала няньку с поклоном, подошла сама с разговором.

Бывало, за ужином отцу все вызвонит, что за день видела да слышала, а про Володьку неделю помалкивала. До этой поры, до семнадцати годов, не глядела на кавалеров, а Добрынин сразу на сердце присел. Раз полдесятка поговорила с ним, а дальше и запечалилась. От няньки секретов не держала — старуха не велела больше в роты ходить, молодцов смотреть.

Отец Маринин как на грех в это время дочери учителя подыскивал. Люди ему и посоветовали Володьку:

— Не отпускайте такого случая. Против Добрынина мало в Архангельском городе ученых. Молодец учтивой и деликатной. Суд когда-то соберется. До тех пор ваша дочь пользу возьмет.

Не хватило у Маринки силушки отказаться от учителя. Зачал Володька трижды в неделю ходить к коменданту на квартиру. Благодарно смотрел он на ученицу, но почитал ее дитятею.

Дни за днями пошли, и внимательная ученица убедилась, что глаза учителя опять рассеяны и печальны. Люто и ненавистно Володьке возвращенье в роты. Уж очень быстролетны часы свободы. О полной воле затосковал. Бывало, придет, рассмеется, а теперь — как мать умерла у маленького мальчика.

Нянька спросит по Маринину наученью:

— Опять видна печаль по ясным очам, кручина по белу лицу. Что-то от нас прячешь, Володенька.

— Ох, нянюшка, думу в кандалы не забудешь!

Лету конец заприходил. Скоро суд и конец Маринину ученью.

Смотрит бедный учитель в окно. Не слышит, что читает девочка. За окном острова, беспредельная ширь устья Двинского, а там море и воля.

Нянька говорит:

— С вашей читки голову разломит. Вышли бы вы. молодежь, на угор.

Володька говорит:

— Меня вдаль караульные не пустят.

— С лодкой не пустят, а пеших не задержат, кругом вода.

Пришли на взгавье острова. Под ногами белые пески, река в море волны катит, ветер шумит, чайка кричит.

Нянька толкует:

— Сядем этта. Солнце уж на обеднике, а вокурат в полдень от города фрегат немецкой в море пойдет. Матросы сказывали. Подождем, насмотримся. Вишь, ветер какую волну разводит... Володя, почто побледнел?

А у Володьки мысли вихрем: «Либо теперь, либо никогда. Спросить Марину?.. Нет, бросится за мной. Моя дорога неведома. И жив останусь, дак всяко наскитаюсь. Жалко ее. Поскучает да и забудет».

А вслух говорит:

— Марина Ивановна, нянюшка, что я вас попрошу — сходите на болото по ягодки на полчаса. А я выкупаюсь.

Старуха зорко на него посмотрела, заплакала и потащила Марину на мох за горку.

Володька еще крикнул:

— Потону, мать мою не оставьте!

Разделся и бросился в волны. Нянька вопила что-то

ему вслед, но пловец уже не слышал. Вопль старухи заглушали голоса вод.

Над городом встала ночь, когда Марина и нянька, опухшие от слез, вернулись домой. Видя, что Добрынина долго нет, встревоженная и обеспокоенная девушка заставила добыть лодку, и, сколько хватило сил, гребли они в сторону моря. Марина не хотела, не могла поверить, что ее любезный учитель, такой сильный и отважный, утонул. Нянька натакала до поры до времени не оповещать никого. Люди могли донести куда следует, и тогда спасенный пожалел бы, что его спасли.

Только через сутки комендант послал в город донесение о том, что Добрынин утонул во время купанья. Свидетелем ставал сам. На том дело и покончили.

Только мать, как узнала, столько пролила слез, дак ручей столько не тек. Тут уж Марина Ивановна в грязь лицом не ударила, сколько было в сердце нежности к сыну, всю на мать его перенесла.

Володька не погиб.

Есть счастливы, которые в огне не горят и в воде не тонут. Слушая об иностранном фрегате, ему пришло в голову, что на таких великанах всегда нуждаются в матросах. И берут людей без разбора. Почто не испытать судьбу?

Чтоб избежать горького расставанья с ученицей, он решил плыть к морю, и корабль сам его догонит. А не хватит сил, так выйти на любой попутный остров, дожидаться и объявить о себе криком.

И он не ошибся. Судьба улыбнулась смельчаку. Чувствуя, что больше не в силах бороться с волнами, Владимирко выбрался на песчаную отмель. И пока он дрожал тут нагой, — зубов не мог сцепить, — мимо начал проходить величественный четырехмачтовый корабль. Володька закричал по-немецки и побежал по берегу.

Его заметили. Спустили шлюпку, подняли на борт, одели, согрели, напоили ромом. Судно было немецкое, из Гамбурга. Почувяв себя на воле, убедившись, что его отнюдь не собираются отправить обратно или сдавать русским властям, Володька ожил, развеселился. Свободно владея немецким языком, полюбился всем — от капитана до последнего юнги. Все ему рады. Вот какой уродился. Не говоря об уме, полюбился станом высоким, и пригожеством лица, и речами, и очами.

Капитан фрегата, проницательный и бывалый, часто беседовал со спасенным и однажды сказал:

— Завтра будем дома. Я убедился, господин Вольдемар, что вы человек талантливый и одаренный. Если угодно, представлю вас моему другу бургомистру Гамбурга. Смелые сердца нам нужны, и вас никто не спросит ни о чем лишнем.

Добрынину осталось только кланяться.

В Гамбурге капитан отвел свою находку к верховному бургомистру, старому старику.

В те времена Гамбург не был подвержен никакому королю. Управлялся выборным советом. Оттого назывался вольный город. Председателем был бургомистр. Стар был бургомистр, много видели на своем веку почтенные советники гамбургские, а и они не могли достаточно надивиться разуму и познаниям молодого пришельца.

Кроме родного, Володька знал язык немецкий, английский, норвежский, шведский, и его положили доверенным к приему иноземных послов.

Так четыре года прошло. Четыре холодных зимы, четыре летичка теплых прокатилось. Володька доверие Гамбургского совета полной мерой оправдал. Он кому и делом не приробится, дак лицом приглянется. Дом, родина, арест, побег, как сон вспоминается. Здесь все иное и дума другая.

Городской совет постоянно благодарил капитана за его находку.

Скоро сказывается, а дело долго делается.

Тут приходят на вольный город две напасти. Умер старый многоопытный бургомистр, а прусский король задумал нарушить с городом досельные договоры, лишить его старинных свобод. Приехали гордые прусские послы и подали лист, что прежним рядам срок вышел и больше в Гамбурге воле не быть, а быть порядкам прусским.

Сроку дается месяц.

День и ночь заседает Гамбургский совет. Силой противустать город не может. Надо Пруссию речами обойти, деньгами откупиться. Сделали перебор трем главным советникам.

Один сказал:

— Берусь вырядить вольности на полгода.

Другой сказал:

— Моего ума хватит добыть воли на год.

Третий, годами старший, сказал:

— А и моей хитростью-мудростью больше, как на три года, вольности не вырвать...

Володька был тоже созван в ту ночь в городскую думу.

И тут его сердце петухом запело.

Встал и сказал:

— А я доспею воли городу до тех пор, пока солнце сияет и мир стоит...

Выбирать не приходилось. Его и послали рядиться с пруссаками.

С утра и до темени оборонял Владимир гамбургскую волю. Где требовал, где просил, где грозил, где выгоды сулил. Говорит — как рублем дарит. Красное солнце на запад идет, у Володьки договорное дело как гусли гудет. Складно да ладно. Пруссаки против его доводов и слова не доискались:

— Вы, гамбурцы, люди речисты, вам все дороги чисты. Новые грамоты печатями укрепили. Теперь нельзя слова пошевелить. Писано, что Добрынину надо:

«Быть Гамбургу вольным городом донележе солнце сияет и мир стоит. А королю не вступаться, и прусским порядкам не быть».

Только и вырядили послы ежегодно два корабля солевой рыбы королевскому двору.

Ну, рыбы не жалко. Рыбы море-кормилец несчетно родит.

В честь столь похвального дела в стену думского ратхауза была вделана памятная плита. И на ней золотыми литерами выбита вся история и вся заслуга Владимира Добрынина¹. А сам он возведен в степень верховного бургомистра. По заслугам молодца и жалуют.

И в новом чину он служит верно и право. И опять лето пройдет, зиму ведет. Но на седьмой год Володя, как от мертвого сна пробудясь, вдруг затосковал по родине, по матери, по Марине.

Мамушка, жива ли ты?
Может, где скитаешься!
Марина, помнишь ли меня?
Простили ли вы меня?

И слезы его как жемчужные зерна. Стал молодой бургомистр в простецком платье по корабельным прибежищам похаживать, с архангельскими поморами поговаривать. Оказалось, они уже слыхали, что здесь в больших русский человек. Вдаль простираться с расспросами Володька не стал, а пришел на совет и заявил:

— Прошу отрядить под меня приправный корабль. Прошу месяц отпуска. Поеду в Русь добывать свою мать.

¹ Архангельские поморы уверяют, что доска эта на том же месте и сейчас.

Советники понурили головы:

— Любезнейший наш бургомистр. Время осеннее, годы трудные... В море туманы, в русской земле обманы. Боимся за вас, не покидайте нас!

Он на ответ:

— Никто нигде не посмеет задеть верховного бургомистра славного Гамбурга... А не отпустите — умру!

В три дня готова шкуна трехмачтовая, команда отборная и охранная грамота.

Парус открыли, ветер паруса надунул. В три дня добежали до Двинской губы. Теперь наш Володенька и с палубы не сходит, не спит и не ест. Так и смотрит, так и ждет.

У Архангельского города якоря к ночи выметали. В корабельной конторе отметились, и захотелось нашему бургомистру той же ночи к родному дому подобраться, тайно высмотреть своих. Переоделся в штатское платье и направился окраинными улицами в обход, чтоб на кого не вернуться.

И тут его схватили грабители, отняли верхнюю одежду и хотели убить. Темна ночь, черны дела людские...

Володька закричал:

— Что вы, одичали, на своих бросаетесь! Я сам мазурик, на дело бежал...

Тут одни рычат:

— Убить без разговоров!

— Кряду ножом порешить.

— Убежит — на нас докажет.

Другие возражают:

— Утром зарежем. А то с кровью проканителмся, ночная работа пропадет. Петухи уж вторые поют.

Володька надежды не теряет:

— Возьмите вы меня на ночную-то работу. На это против меня не найдете мастера!

— Ну идем... Только уж смотри, закричишь или побежишь, — тут тебе и нож в глотку.

Долго шли по продольной улице, свернули на поперечную, остановились у высокого дома. И сквозь мглу ночную узнает пленник — улица их, Добрынинская, и дом их.

Главный шепчет:

— Здесь старуха живет, Добрыниха. Налево пристройка, окно с худой ставней. Тут у них кладовая клеть. Медна посуда есть, одежонка... Пусть один в оконницу пропехается, будет добро подавать, мы принимать.

У Володьки сердце то остановится, то забьется:

— Я горазд в окна попадать. Меня подсадите.

— Тебя одного не пустим, лезьте двое.

К чужим бы не суметь, а свои косяки пропустили. И ставня под хозяйской рукой не стукнула. Следом за Володькой протискался еще один.

В опасности голова работает круто. Закричать?.. Стены глухие, кто услышит ли?

Стучать? Нет ли чего тяжелого...

Наткнулся на весы. Нашупал гирю. А страшный компаньон к нему:

— Мы, что, гадюка, играть сюда пришли?! Ломай замок у сундука!

Вместо ответа Добрынин левой рукой схватил его за горло и подмял под себя, а гирей в правой руке и ногой приправил, и ну, что было сил, грохотать в стену, в двери, во что попало, неистово крича:

— Карау-ул! Спаси-и-те!

В доме поднялась тревога. Забегали люди, замигали огни. Мазурик вырвался из рук Добрынина, ударил его ножом, да мимо, только сукно рассек, затем кинулся в окно и выбросился наружу.

Скоро далекий топот ног известил, что мазурики скрылись. С чем нагрянули, с тем и отпрянули.

Того разу дверь в кладовую размахнулась, и несколько человек бросились вязать мнимого вора. Он закричал:
— Не троньте меня, не смейте. Ведите сюда хозяйку Добрыниху.

А хозяйка Добрыниха бежала по сеням с фонарем. И тут у нее ноги подрезало, и она закричала с рыданьем:

— Не смейте!.. Это сын, сын Володя, воротился!..

Пала мать сыну на грудь:

Беленькой ты да голубчик!
Миленький мой да соколик!
Желанненько мое чадышко!
Из глаз-то ты уехал,
Из памяти ты да не вышел!
Как я тебя жалела,
Да как я тебя дожидала!

Тут не бела береза подломилась, не кудрява зелена поклонилась, повалился сын матери в ноги.

— Дитятко, не мне кланяйся. Благодарю Марину Ивановну — только по ее милости я эту прискорбную пору пережила. Она меня заместо матери почитала.

— Маменька, где она?!

— Тут она! За колачами пришла да и ночевать осталась... Точно знала...

И Марина, станом высокая, а нежным лицом все та же, держит Добрынина за руки, не дает ему падать в ноги. И говорит, говорит, торопится:

— Володенька, как тогда жить-то зачинать без вас горько было. Отец женился, няня померла, я у маменьки у вашей больше гощу. А вас первое время и в живых не чаяли. Потом весть пришла, что пловца кораблем подобрали. На остатках узнали — в Гамбурге морского найденныша главным начальником положили. На вас думать боялись, а надежды не теряли.

И Володька на ответ:

— Тошнехонько! Бил вас денечек, сам плакал годочек! Марина Ивановна, мама! Перемените печаль на радость, слезы на смех. Я и есть главный бургомистр города Гамбурга. И я за вами на корабле пришел.

Погостил тут Володя, сколько привелось, а потом сел с матерью да с невестой на корабль и с вечерней водой, под красой под великой отправились они в путь, чтобы жить вместе и умереть вместе.

ГОСТЬ С ДВИНЫ

В Мурманском море, на перепутье от Русского берега к Варяжской горе есть смятенное место. Под водою гряды камней, непроглядный туман, и над всем, над всем: над шумом прибоя, над плачем гагары и криками чайки — звучал здесь некогда нескончаемый звон.

Заслышав этот звон, остерегательный и оберегательный, русские мореходцы говорили:

— Этот колокол — варяжская честь.

Варяжане спорили:

— Нет, этот колокол — русская честь. Это голос русского гостя Андрея Двинянина.

Корабельные ребята любопытствовали:

— Что та варяжская честь? Кто тот Андрей Двинянин?

Статнее всех помнили о госте Андрее двинские помыры. Этот Андрей жил в те времена, когда по северным морям и берегам государили Новгород Великий.

Андрей был членом пяточисленной дружины. Сообща промышляли зверя морского, белого медведя, моржа, пес-

ца. Сообща вели договоренный торг с городом скандинавским Ютта Варяжская.

В свой урочный год Андрей погружает в судно дорогой товар — меха и зуб моржовый. Благополучно переходит Гандвиг, Мурманское море и Варяжское. Причаливает у города Ютты. Явился в гильдию, сдал договоренный товар секретариусу и казначею. Сполна получил договоренную цену — пятьсот золотых скандинавских гривен. Отделав дела, Андрей назначил день и час обратного похода.

Вечером в канун отплытия Андрей шел по городской набережной. С моря наносило туман с дождем. Кругом было пусто и нелюдимо, и Андрей весьма удивился, увидев у причального столба одинокую женскую фигуру. Здесь обычно собирались гулящие. Эта женщина не похожа была на блудницу. Она стояла как рабыня на торгу, склонив лицо, опустив руки. Востер трепал ее косы и воскрылия черной, как бы вдовьей, одежды.

Андрей был строгого житья человек, но изящество этой женщины поразило его. Зная скандинавскую речь, Андрей спросил:

— Ты ждешь кого-то, госпожа?

Женщина молчала. Андрей взял ее за руку, привел в гостиницу, заказал в особой горнице стол. Женщина как переступила порог, так и стояла у дверей, склонив лицо, опустив руки. Не глядела ни на еду, ни на питье.

Андрей посадил ее на постель, одной рукой обнял, другой поднес чашу вина.

— Испей, госпожа, согрейся.

Женщина вдруг ударила себя ладонями по лицу и зарыдала.

— Горе мне, горе! Увы мне, увы! Забыл меня бог и добрые люди!

Беспомощное отчаяние было в ее рыданиях. Жалость, точно рогатина, ударила в сердце Андрея.

— Какое твое горе, госпожа? Скажи, не бойся! Я тебя не дотрону.

Переводя рыдания, женщина выговорила:

— По одежде твоей вижу, господине, ты русский мореходец. Мой муж тоже был мореходец.

— Был мореходец? — переспросил Андрей. — Ты вдовеешь, госпожа?

— Почти что вдовею. Мой муж брошен в темницу.

— За что же?

— Я расскажу тебе, господине. Мой муж с юношеских лет ходил на здешних торговых судах. Когда мы поженились, загорелся он мыслью построить собственное суденышко. Сколько своими руками, столько помощью товарищей построен был кораблик, пригодный к заморскому плаванью. О, как мы радовались, господине! Тогда задумывает муж сходить в Готтский берег на ярмарку. Но где взять деньги на покупку прибыльного в Готтах товару? И опять судьба улыбнулась нам: здешняя гильдия дает моему мужу деньги в долг на срок — вернуть долг сполна по возвращению с Готтского берега. О, как мы радовались, господине! Днем муж закупал товар и погружал на судно. Ночами мы рассчитывали, сколько у нас останется прибыли по уплате долга в гильдию. Я не плакала, провожая мужа, я радовалась. Но пути божьи неисповедимы. Еще кораблик наш не дошел Готтского берега, налетела штормовая непогода. Кораблик нанесло на камни и разбило в щепы. Дорогой товар утонул.

Муж вернулся в Ютту бос и наг. По суду гильдии его бросили в темницу на срок, покуда не уплатит долг. Это было два года назад, господине.

Я осталась одна с двумя маленькими детьми. Надо было кормить мужа в темнице, прокармливать детей. Я стала работать у рыбного засола. С рассвета до заката, на ветру, на снегу, на дожде. За труд платили рыбой. Го-

лову варила и несла мужу, остальное доедала с детьми. Хлеб подавали соседи, добрые люди. И они же доводили меня до отчаяния. Всякий день я слышала: «Гордячка ты, бесстыдница! Рыбный засол — не работа. Сама подохнешь и семью уморишь. Иди на пристань, торгуй своим телом, пока молода. Познатнее дамы торгуют любовью по нужде, а ты кто?»

С ужасом я слушала такие речи. Стать блудницей, пропащей... Утопиться бы — и то нельзя: без меня замруг мои дорогие муж и дети. И вот сегодня город тонет в тумане. И я решила: вечером пойду и стану у пристани. В такую непогоду никто из горожан не ходит, никто моего позора не увидит. Меня, господине, ты и заметил у причального столба и привел сюда. Вот и все.

— Госпожа, как велик долг твоего мужа?

— Страшно вымолвить, господине: без малого сто золотых скандинавских гривен.

Андрей соображал:

«На нас, пятерых, я получил пятьсот гривен, по сто гривен на брата. Моей долей я волен распорядиться».

Он выговорил:

— Следуй за мной, госпожа.

Город накрыт был белесым туманом. Но Андрей шел быстро, уверенно. Женщина едва поспевала за ним. На спуске к пристаням еле блазила древняя церковица. Андрей сказал:

— Стань, госпожа, в церковных воротах и не сослупи с места. Жди меня. Я тотчас вернусь.

Как птица слепым полетом, в тумане он побежал на свой корабль. Спустился в каюту, отомкнул ларец с общей казной, в кожаный кошель отсчитал сто золотых гривен. Спрятав кошель за пазуху, побежал обратно в город.

Женщина стояла в каменной нише, как изваяние. Андрей сказал:

— Я принес тебе нечто, госпожа. Но должен проводить тебя до дому.

— Господине, — отвечала женщина, — мой дом близко. Видишь, в конце улицы брезжит огонек. Это мой сынишка поставил на окне светильник, боится, чтобы мать не заблудилась.

Андрей все же проводил ее до дому.

— Теперь ты дома, госпожа. Вот, держи обеими руками этот кожаный кошель. В нем сто золотых гривен. Завтра утром иди в гильдию, объяви о себе секретариусу и казначею. Они примут гривны счетом и весом. Также выдадут тебе пергамент с печатями, что твой муж чист от всякого долга. Завтра, до полудня, твой муж возвратится домой полноправно и свободно. А теперь прости, госпожа.

Сотворив поклон, Андрей зашагал обратно, и его накрыло туманом.

Тогда только женщина опомнилась, бросилась вслед Андрею и закричала:

— Господине, господине! Человек ты или ангел? От сотворения мира неслыхана такая великая и богатая милость!

Она бежала и кричала, но не знала, в какой переулок, к каким пристаням свернул Андрей, и крик ее был как крик чайки в море. Тогда женщина упала на дорогу и, рыдая и молясь, целовала следы Андреевых ног на сыром песке.

В ту же ночь, до утренних часов, Андреев корабль покинул Ютту Варяжскую и, открыв паруса, пошел в русскую сторону.

Оминув Варяжскую Гору, Андрей проходит море Мурманское и наконец, одолев жерло, достигает Двинской земли.

В сборной избе Андрей здоровствуется с четырьмя своими товарищами. Справив поклоны, они спрашивают:

— Каково путь в торговлю справил, господине?

Андрей отвечал:

— Вашим счастьем, государи, бог дал, все благополучно. В Ютте казначей и секретариус товар похвалили и договоренную цену уплатили, пятьсот гривен золотом свесили счетом и мерою.

Андрей поставил на стол ларец с золотом.

— Здесь, государи, только ваша доля — четыреста гривен золотом. Свою долю — сто гривен — я вынял и стра-тил.

— Суматоху говоришь, государь! Общая казна делится сообща. Никто из пайщиков не вправе выхватить из общей казны ни единой серебряной копейки. Ты, государь Андрей, поступил самочинно, самонравно, самовольно. Ты переступил Морской промышленный устав!

Ни единого слова покорного не приготовил Андрей своим товарищам. Вышел из горницы, так дверью двизнул, что изба дрогнула.

С этого дня и часа остуда легла меж Андреем и четверьмя его товарищами. Эта остуда была на руку соседственной артели. Артельный староста «подвесил Андрею лисий хвост»:

— Тебе, преименитому кормщику, не дозволено копейки взять из казны! Твоей бы дружине перед тобой на четвереньках бегать, а они свою ногу тебе на голову ставят. Переходи в нашу дружину. Будешь над нами государить, а мы тебе будем в рот глядеть и от тебя слова ждать.

— Куда походите? — спросил Андрей.

— Зимовать на Матку, на Новую Землю.

Андрей был крут на поворотах — дал согласие. Ушел на Новую Землю, не сказавшись, не спросившись со старыми своими товарищами. И те оскорблены были даже до слез: ушел, не простился!

На Новой Земле кормщик Андрей государи́л и осень, и зиму, и весну. Там, в невечерний день, к Андрею пришла та, которая говорит о себе: «Я — детям утеха, я — старым отдых, я — рабам свобода, я — трудящимся покой».

Андрея положили в каменном берегу, накрыли аспидной плитой. На плите высечена надпись: «Спит Андрей Двинянин, жда архангеловы трубы».

Эта вестъ об Андрее прилетела на Двину, и была печаль великая, и дружина плакала — ушел и нам прощенья не оставил.

Через четыре года по Андрееве исходе, значит, через пять лет после его быванья в Ютте, пришел на Двину скандинавский корабль, и хозяин корабля стал сыскивать об Андрее. В тот же вечер встретился с Андреевой дружиной.

— Вы Андреева дружина. Вам должно принять эти гривны.

— Недостойны.

— Раздайте скудным, бедным людям.

— Не нашими руками раздавать. Тяжко нам будет получать спасибо за Андрееву милость.

Наконец сошлись на том, что надобно учредить память Андрею. А как Андрей был отменитый мореходец, то да будет память его знатна и слышна в морском сословии.

— Наша Двина ходит промыслять рыбу в Западный Мурман, близ Бусой салмы. Это место вы, скандинавы, зовете «Жилище туманов», и Андрей мечтал учредить здесь остерегательный звон.

— Быть по сему, — отозвался варяженин. — Я в эту же зиму вылью колокол и весной, на троицу, привезу кораблем.

— Быть по сему, — отвечали двиняне. — Мы явимся на Мурман раньше тебя и к троицыну дню возведем на Бусой вараке столп-звонницу. Еще кладем на тебя заповедь.

государь варяженин. По\ободу, по краю колокола, вылей сей стих: «Малый устав преступив, исполнил великую заповедь».

Как пообещал варяженин, так и учинил. Сыскались в Скандинавии искусные мастера-литейщики. Вылили из меди, олова и серебра художный колокол. Только стих, завещанный двинянами, вылили латинской речью. По тому же латинскому обычаю колокол был окрещен и наречен Андреем.

Весною, когда полетели в русскую сторону гуси, гагары и утята, варяженин погрузил колокол на свой корабль и вслед за птицей пошел в русский ветер.

В эту пору стоит на Мурмане беззакатный день, и берега грезят и манят в великой прозрачности.

Варяженин видит Бусую вараку в полном лике: на вершине возведена звонница новгородским обычаем, но в один пролет.

Варяженин трубит в рог, и Русь трубит ответно. Колокол вздымали на гору на моржовых ремнях всем народом.

Звон был учрежден западным обычаем: в пролете, в железных гнездах, ходила дубовая матица. В матицу вращены уши колокола. От ушей спущены до земли ременные вожжи. Звонарь, стоя на земле, управлял вожжами. Матица начинала ворочаться, раскачивая колокол. Колокол летал в пролете, язык бил свободно, рождая звук певучий, грозный и жалобный.

Это звенящее, нескончаемое пение носилось по океану триста лет. И проходящие мореходцы поминали гостя Андрея с Двины и гостя-варяженина.

После этих времен дошел день и час: колокол зазвонил сам собою, ужасая слышавших.

«Последи же бысть трясение земли о Западный берег Мурмана».

Тряхнуло гору в Кольской губе, дрогнула Бусая варака, качнулась звонница. Колокол, звеня и рыдая, как птица слетел в глубину морскую. Но и в начале нынешнего столетия мореходцы уверяли, что звенит Андреев колокол и на дне моря-океана.

В ОТНОСЕ МОРСКОМ

Про нашу жизнь промысловую послушаешь, так удивишься, удивишься и устроишься. Расскажу про себя, про сынишку моего и про брата, как мы на промысел пошли и в какую беду попали¹.

Беды терпеть да погибнуть — помору не диво. Море — измена лютая. Спроси того-другого робенка в Поморье: «Где тата?» Скажет: «Вода взяла».

Море нас поит, кормит, море и погребает... А мы вот от морской напасти спаслись, и таким ли дивом спаслись, так всю жизнь на другую сторону повернуло.

Мы Белого моря, зимнего берега народ. Коренные зверобой-промышленники, тюленью породу бьем. В тридцатом году от государства предложили промыслять коллективами. Предоставят-де и ледокольный пароход, и с самолетом.

Условия народу были подходящи. Зашли кто в артель, а кто на ледокол.

А я да брат старший Егор Иванович не то что на ледокол, а из своей артели убежали.

¹ В основу рассказа положен действительный случай спасения унесенных на льдине зверопромышленников героем «Челюскина», капитаном В. И. Ворониным, который командовал тогда ледоколом «Седов».

Сынишко мой Олександр колхоз бы любил, да отчишку с дядей перечить не посмел.

Сретьева дня дождались: стали флюгера полунощник-ветер сказывать, норд-ост. Зачали наши деревни на промысел снаряжаться. Тюленьи женки в эту пору детей народают, стада звериные на отдых повалятся, и это богатство полунощник к нашему берегу на льдинах притянет.

Мы, значит, втроем срядились. Лодочку dospели на кренях¹, погрузили дровец, хлеба, котелок, пики, обулись, оделись по-промысловому, с племенем простились и поволоклись.

Сутки берегом шли, други сутки — припаем береговым. На льду и огонек разведем, поедим и выпьемся, лодочкой накрывшись. Путь вороны казали: на зверя же летели. На третий день береговой лед кончился, пошла раздельная льдина. Беда беду родит — встречу полунощнику из-за горы побережник-ветер выскочил. Зачали друг другу в лицо мокрым снегом плевать.

Опасен в эту пору побережник, он лед от берега отдирает, нашего брата в море уносит...

Остановились, глядим на своего юровщика²:

— Егор Иванович, что велишь?

Он шапку снял, ветер пытается: то ту, то другую щеку подставит. А ветер явно с горы, в спину. И Егор командует:

— Заворачивай обратно! Сей день напромышлялись.

А Олексишко забежал на торос на высокий и вопит:

— Дядя! Татка! Юрово! О, коль велико!

Мы охотники природны. Петухом сердца-ти запели.

¹ К р е н ь я — полозья у лодки.

² Ю р о в щ и к — вожак (от слова «юрово», стадо морского зверя).

Выстали на льдину, а в полуверсте зверя-то — как дров! И любо на них глядеть: посередине матки лежат с робятами. Как бабы в бане, гладят их, моют, плавать учат. Ежели ребенок капризит, мамка его и круто на море рое. Кругом, как стена нерушима, ограда крепка — самцы-лысуны...

— Егор Иванович, что велишь?

— Играть давайте!

Значит, надо нам зверины ухватки принять, зверем притвориться. Он нас видит, пушай на своих думает.

Лезем на юрово, по душу его морскую, рукавицами гребем, задом подхватываем, головами покачиваем — как есть тюлени! Спину ломит, колени отпали, а любо это и весело!..

Вот мы приехали. Душина от них! Глядят, говорят меж собой, что-де ихнего полку прибыло... Тут мы прянули на зверя, как волки. Пика свистнула, да кровь пробрызнула. Песню поморским обычаем запели:

Сила земна,
Сила водяна,
Земна толщина,
Морска глубина!
Зверь идет,
Зверя ведет!
Четыре ветра,
Четыре вихря.
Ходит сила
Из жилы в жилу.
Зверь идет,
Зверя ведет!
День с ночью,
Медь с кровью
Стрела калена,
Тетива шелкова.
Зверь идет,
Зверя ведет!

Тюлень упал, и другой — твой, и третий опрокинулся. Любо это и весело. Зверь ревет, мы поем, охота нами овладела. Знай, железо блестит, кровь свистит, да туши ложатся...

И тут как пологом побоище завесило, снег стеной повалил.

Опомнились.

— Егор Иванович, что велишь?

А ветер-от с горы, да с горы. Не знаю, когда он полнощника одолел. И льдина под ногами завизжала, не любит тоже в море идти.

— Кидай все, попадай к горе на пиках!

Не бежим — летим. И чуем — не стоит лед-от, гонит его разбойный ветер. Полынью перемахнули, другу перескочили — и аминь... Поперек разводье легло велико, широко, как река. Вода чернил чернее, а мы бумаги белее. Где стояли, тут и пали. Конец нам...

И мой Олександр затрясся и меня с дядей — черной бранью... Последнее слово кинул:

— Пошто с народом не пошли? От людей бы нас унесло — телеграмм бы наподавали на ледокол, по маякам!

Егору нельзя духом падать, он юровщик.

— Еще не ревите, еще не конец! Буде во своем море останемся, всяко нас к тому ли, к другому берегу прикачает.

До вечера ни единым словом меж себя не перещелкнули.

Ночь передремали, утром по окольным льдинкам с полдесятка зверя нашли убитого, тюленины пожевали: душная она, рвало нас. Заместо воды — снег. А тюленьи тушки — и постель, и оутка.

На другой день показало Летние горы.

Лодкой достали бы берега, а лодка ведь на берегу осталась

На третий день мы наревелись — желанненьки Зимние горы в глазах были. Чалились мы за лед, всяко к берегу прибарахтывались. Да где тут...

Потом трои сутки — лед, да небо, да вода. Лед, да небо, да вода... Всего семь дней, семь ночей в Белом море кружило.

Дале туманами шли сутки, не знали где. А ночь привелась звездна, по звездам прочитали, что шествие льда — на полночь, в океан. Опять Олексешко воет, опять на меня тоска, опять Егор утешает:

— Еще не тужите, еще не конец, еще не смерть! На свету Горлом¹ пойдем — должны нас с маяков оприметить.

Утро серое взялось со снегом. Влево Лопский берег чернел. Мы до сумерек кричали. На пику рубаху повесили, махали. Никто не услышал, никто не увидел. Только нерпы в воду булькают. Брат лысуна заколол, в распоротом брюхе ноги грели.

Мы с братом каждый про себя знали, что чем скорей замерзнуть, тем бы краше, но ради парнишки показывали вид надежды.

В Горловине заторами неволило нас пять ден. А лед мелок, не несет человека. Беда беду родит: ноги натекли, у рук персты опухли, с тюленины душу воротит, знобит — все бы спал. Докучаю брату:

— Это конец. Цинга пришла, черна смерть...

Он как стукнет меня по шее:

— Это простуда! Еще не смерть, еще не конец!

На двенадцаты сутки бедствия вынесло нас в Ледовитый океан. А нам все одно — только бы крепче заснуть. И уснули бы вечным сном, да двинуло торосом становым. Наша льдина лопнула. Тут разбудились, прянули на ноги.

— Егор Иванович, что велишь?

¹ Горло. Горловина — выход Белого моря в Северный океан.

Он огляделся: во все стороны развеличился океан-батюшко...

Снял наш кормщик шапку и выговорил:

— Брат, племянник! Смерточка пришла!..

Подает из сумки сверток мне, парню, себе:

— Хранил для торжественного дня. Сей день приходит.

Развертываем. У каждого рубаха смертная долгая, саван с куколем, венец на голову, лестовка полотняная.

Я заплакал, кланяясь:

— Благодарствую, братец Егор Иванович, что подумал да позаботился, срядил нас в жизнь бесконечную.

А Олександр недоумевает:

— Дядя, разве ты знал, что мы помрем?

Брат говорит:

— Дитя, вековой это поморской обычай — смертную одежду в море брать.

Умылись мы, волосы, бороды расчесали, обрядились в рубахи, в саваны, в венцы. Поклонились под южной ветер в родиму сторонушку, с желанными простились...

Великим падежом пал Олесишко да запричитал:

— Мила моя мамушка, знаешь ли, что сына во гроб наладили? Желанна невеста Катенька, осталась у нас с тобой игра не доиграна! Дорогой друг Герман Олегович, песенка наша не допета!..

Обычай родительский — детищу своему жизни, здоровья хотеть, а я тогда сыну одинакому смерточки скорой молил. Стали мы друг другу в очи глядеть на последнее прощание. Нагляделись, тогда обычаем мертвых глухо закутали себе лица саванным наголовьем. Легли. И учало нас затягивать в смертные сны.

Часы прошли или минуты, услышал я звон явно, близко. Говорю:

— Брат, слышишь звон?

Он как со сна:

— Это тебе к смерти, брат. Помирай дале.

Дале я забылся... да вдруг в самые уши гремит, гудит!... Дрогнул я, сдернул кукуль, а над головами-то... аероплан!!! Не блазнит¹ ли? Не привиденье ли? Нет, кружит, трещит... Схватил я пику, машусь да реву:

— Пособите! Пособите!

И парнишко мой:

— Батюшки миленькие, пособите!

А оно скружило над нами два накона и потерялось... О, горе взяло! Лучше бы не казался, надеждой не манил. Эту ночь наборолся я с Олександрушком моим.

Кричит:

— Дядя или тата, заколите меня никой!

Топиться лез. И бил я его, и обнимал, и опять бил, и плакал над ним.

А о полдень, как рог серебряный, запел над нами аероплан.

Мы скакать, мы реветь:

— Помогите!.. Пособите!..

Что же далее?.. Кружит машина ниже да ниже, да надлетела над нами и выронила посылку.

Мы опять:

— Товарищи! Возьмите нас!

Они не слышат. Улетели птичкой.

Посылка в воду пала, пикой добыли. Там консервов две коробки, в каждой фунта по три, сухарей кил пять. мазь какая-то, морошки банка. Вот сколь люди внимательны — морошечки послали! И письмо! Письмо сто раз на дню читали:

— «Товарищи! Мы вчера заметили вас и опять прилетели с ледокола, который подвигается теперь в вашу сто-

¹ Блазнить — мерещиться

рону. На аэроплан принять вас не можем, потому что льдина мала для разгону. Но мы вас не оставим».

Ну, ожили мы, воскресли. Шабаш помирать-то. Хлебу рады, письму рады. Холоду опять оберегаемся, больших торосов хранимся, орудуем пиками сидя да лежа. Ногами уж так себе владели. Однако ждать да погонять — нет того хуже: разводьем плывем — боимся, что от парохода утеемся; в затор попадем — тужим, что пароходу не пробиться.

Однажды как бы стрельбу услышали. С той поры без отдыха блазило: то дымом пахнет, то мотор стучит. Без дня неделю этак... Извелись!

В последнюю ночь сменной ветер пал. Торос на торос лезет, визгу, грому... Тут и свисток донесло, и дымом запахло. Остатню силушку собираем, чтобы не угаснуть.

Но как обутрело, тишина стала в мире, и мы головы подняли из-под снега. Пароход стоит саженьях во ста...

Обезумели от радости. Кричим, как на лошадь:

— Тпру! Тпру!

Да ползунком по льдинам-то. И с парохода нас увидели, свисток дали, трап спустили.

Пароходские нас под руки принять хотят. а мы «ура» кричим и им в ноги падаем.

По трапу сами взняться не могли, нас поском занесли. Тут раздели, тут в тепло положили, рому поднесли норвежского. Сам капитан Владимир Иванович Воронин обихаживал за доктора. Беспокоился, как отец родной.

Ден через десяток я с сынишкой помогали, чем могли, на пароходе. Брат Егор до весны в Мурманской больнице немог. На другой год мы втроем на этот ледокол в коллектив зашли.

Всего погибали мы в отнесе морском восемнадцать ден. Сем ден в Белом море, пять ден в Горловине, шесть ден в океане.

СЛОВО О ЛОМОНОСОВЕ

Ум веселится, вспоминая Ломоносова. Радует мысль, соглядая его жизнь и дела. Любо говорить о Ломоносове, и если я скажу звягливо и рогато¹, ты Расскажи чиновно, с церемонией.

Кого любишь, о том думаешь, за тем и ходишь глазами ума... Вижу Михайлушку Ломоносова юнгой-зуйком на отцовском судне... Двинская губа только что расположилась ото льда. Промысловые лодьи идут в море. Многопарусная «Чайка» Ломоносовых обгоняет всех. Михайло стоит на корме и дразнит людейщиков, протягивает им конец корабельного каната — нате, мол, на буксир возьму. Людишки ругаются, а Михайло шапкой машет: «До свиданья, дожидаться недосуг!»

Пока жива была маменька-потаковщица, со слезами покидал родной дом. С годами «маменькин запазушник» втянулся в морскую жизнь. Его уму, острому, живому, пытливому, все вокруг казалось чудным и дивным. Сколько спит, столько молчит.

— Татка, у солнца свет самородный?

— На солнце риза царская и корона. То и светит.

— А звезды? Маменька сказывала: лампы ангельские...

— Ну да! Звезда бы на Холмогоры пала, весь бы город покрывала!

— А молния?

— Это бог тянет лук крепко и стреляет метко. Где увидишь дерево или камень, грозой обожженные, там в песках стрелку ищи.

¹ Звягливо — крикливо; звягливо и рогато — крикливо и неуклюже.

— А край земли близко ли? А почто немцы говорят несходно с нами?

— Ужо в грамоту тебя отдам учиться. Там толкуй, что откуль. Порато ты у меня любопытен!

— Ну и сын у тебя, Василий Дорофеевич! — дивился сельский дьячок. — Сколько учится, столько меня учит. Неладно-де называть «собака», надо — «солбака». Бог-де человека создал, и не понравилось, что лоб велик... Лишек от лба отнял и в том собаку сделал. Потому собака и умна, что со лба... филолог!!

— Ну и парень! — вторили монахи архиерейского подворья. — Принесли владыке книгу древлеписьменную для справок. Он поглядел и очки бросил: «Витиевато и узорно, а нечетко...» А Миша зачитал, будто с парусом по ветру побежал. И кряду вопрошает: «Владыко, куда солнце заходит?» Ну, тот пояснил, что в окиян-де умыться, чтобы лучи просветить.

Годы шли. Михайло перечитал все церковные книги, что были под рукой. Многое выучил наизусть. В особенности очаровала его Псалтырь в стихах Симеона Полоцкого.

Михайло терял сон и еду, пока не получал на руки какой-нибудь полюбившейся книги. Вот он узнает, что за рекой, в доме Дудиных, есть две книги по новой мудрости. «Как свеча я теплился перед старым идолом Дудиным, — рассказывает сам Ломоносов. — Помер, а не дал. В воду я совался ради этих книг перед наследниками Дудиными и, наконец, получил в вечное владение. «Арифметика» Магницкого и «Грамматика» Смотрицкого, печати 1645 года, то были врата учености моей... У мужиков разговор: «Почем хлеб да почем рыба»; у баб: «Кто где женился, богату ли взял». А книга моя беседует мне: «Разумей читать книгу природы, живую грамоту. Подивися, как из малого семени вырастает великий дуб. Поразмысли чудное устройство тела твоего: глаз, орган тончайший хрупкого стекла, безо-

пасно прибран в чашку костяную. И ресницами от пыли загорожен; и бровями от поту со лба защищен».

Новые мысли, новые вопросы рождались в молодом уме. Бывая с отцом в Архангельске, где жило много иностранцев, Михайло начал пытаться у многограмотных людей, нет ли таких книг, где бы протолковано было о дубах и семенах, о звездах и о теле человека. Городские грамотеи отвечали, что о звездах и о небе трактует наука астрология, а человеческим телом ведаёт антропология купно с медициною. Сия последняя знает и о растениях. Потому что «всяк знак на пользу человека...», кроме табаку... Науки эти все заморские, изложены латинским языком.

— Латинскому языку где учат?

— В Москве, в Славяно-греко-латинской академии. Принимают детей дворянского и духовного звания. Тебе, крестьянскому сыну, латыни не нюхать...

— Ну... Сей день не без завтра...

Михайлушко любил природу и очень радовался, что цветы, и травы, и деревья — это не только сено и дрова, но и наука этим занимается.

Недалеко от Холмогор, в деревне Вавчуге, крестьяне исстари занимались постройкою морских судов. Здесь Михайло узнал, что и корабли бегучие строятся, и мельницы стоячие ходят, и материна самопрялка кружится не так просто, а по законам науки — механики и физики. Юноша пристрастился делать модели кораблей и мельниц, придумал хитрые замки к амбару и житнице, смастерил стенные часы с боем. Это увлечение сменилось страстью к стихотворству по правилам грамматики Смотрицкого и по образцам старинного поэта Полоцкого.

Отец, занятый промысловыми заботами и расчетами, а затем постройкою каменного собора на селе, сквозь пальцы смотрел на «игрушки» сына;

— Слава богу, достаток имею. могу позволить единственному сыну и побаловаться. Остарею, все на него опрокинется, не до книг будет...

Во всем покрывала детище и маменька-потаковщица. Но вот... «маменька родимая, свеща неугасимая, горела, да растаяла. Жалела, да оставила»... Василий Дорофеевич женился на другой. Мачеха, как зверь, ошетижилась на Михайловы книги и бумаги. Юноша стал прятаться по соседям, читать ночью в бане, при свете лучины. Мачеха ругалась, рот не запирала. Налетала и на мужа:

— Вырастил книжника, еретика! Целу зиму на книге лежит! Ни по воду, ни по дрова... Дармоедина!

— Пошто дармоедина?! Он на промыслах пособляет радетельно! А за книги его два игумена о празднике хвалили.

— Вот! Они его и сманят в пустыню. Они на дешево лакомы. А татенька-родитель посиди без работника... Поил-кормил двадцать лет...

— Михайло не в попы... Он цифирь, рихметику каку-то выкладывает...

— Вот! Я и говорю! Пойдет ли банна жихоня в попы?! Ночью в бане сидит, по книге волхвует... Оборотень!

Наедине отец пенял сыну:

— Горе на меня твоя грамота! Она попам нужна, чтобы в службах не сбиться. А деловому человеку при здравом уме и твердой памяти грамота—все одно, что костыли при здоровых ногах. Я неграмотен, да памятен и в голове все управление содержу: морское, и береговое, и домашнее. На умах рассчитаю краше, нежели пером на бумаге.

— Татенька! А все господа многограмотны.

— Ври больше! На что благородному господину читать да писать самому?! Он писца да чтеца нанять может. Все равно как «Иван, сошей башмаки! Марья, пеки пироги!...»

Михайле исполнилось девятнадцать лет. Управля мор-

ские промыслы, осенью тысяча семьсот тридцатого года он упал отцу в ноги:

— Государь мой татенька, Василий Дорофеевич, пусти в Москву учиться!

У отца сердце озябло и ноги задрожали:

— Люди меня давно ума доводили и мне говорили: сын взгляду отцова должен бояться, от взгляда с ног падать, а у вас-де с сыном дружба-приятство... Добра-де не жди. Так и вышло: думал с сыном век вековать, а приходит: век горевать.

— Татенька! Ужели ты произволяешь детищу своему лучше быть враг, нежели друг?

— Как это враг? А для кого я потом кровавым дом и все богатство наживал? Для тебя! Кому оставлю? Тебе, Миша! Погляди-ко, руки отцовы... как крюки!.. Сколько я на веку работы унес!.. Ужели отцовы труды людям под ноги бросишь?..

— Татенька, Василий Дорофеевич! Я с божьей помощью вознамерился шире да выше свой жизненный полет управить... Татенька, государь, благослови в Москву учиться...

— Ну, сын... Воля твоя... Люди-те, люди-те что скажут: «У Василия Дорофеевича сын по миру пошел, скитаться...»

— Татенька, не плачь!.. Воля твоя...

— Нет, сын! Ты с отца волю снял!..

Той же зимы Михайло ушел из дому. Мимо шел на Москву рыбный обоз. Миша и ушел с обозом. Снес на себе шубу, да кафтан, да три рубля денег.

...Буря-непогодушка унесла его с родной сторонущи. В архиве холмогорского воеводы сохранился документ: «7-го декабря, 1730 года с дозволения отца своего отпущен к Москве Михайло Васильевич сын Ломоносов. О чем выдан ему паспорт».

С помощью обозников Михайло отыскал в Москве рыбного старосту, холмогорца. Земляк, выслушав юношу, умилился и прослезился:

— Неслыханно! Отрок из одной токмо жажды знания, презирая тысячи препятствий, за тысячу верст бежит в Москву учиться!..

Славяно-греко-латинская академия учреждена была еще в XVII-веке при Заиконоспасском, что на Никольской улице, монастыре. Сюда земляк и привел Михайла. Удивился и отец архимандрит, ректор академии:

— Преудивленно! У нас ребята от учения, как от заразы, бегают. Дубьем не можем приневолить, а этот ради наук с Белого моря прибежал!.. Податное сословие не препятствие: несть правил без исключений.

Принятый в «Спасские школы», как называли в Москве академию, Михайло ног под собой не чуял от радости. Ежели по доме какая слеза катилась, та назад воротилась. Низшие классы он прошел в один год. Через год умел уже сочинять латинские вирши — стихи. Латынь была тогда преддверием всех наук. Сочинения писались по-латыни. Михайло быстро одолевал класс за классом. Был первым в богословии и в философии, в красноречии и в поэзии. Но в Москве не оказалось тех наук, ради которых он сюда прибежал. Ни физика, ни механика, ни астрономия, ни иные науки, объясняющие природу и ее явления, в школе не преподавались.

Конечно, пытливый и живой ум везде находил себе пищу. Библиотекарь и ключ отдал ревностному любителю наук: «Начитаешься, дак закрой! А я ужинать да спать!..»

Между тем житье-бытье в школе было скудное и суровое. Пища грубая; посты строгие: кроме хлеба, звено рыбы, чаша квасу... А дома у отца нищим пирогами подавали. Холмогорцы-обозники ежегодно привозили письма от отца. Отец звал домой неотступно: «Воротись, дитя!

Я остарел... на кого брошу дом и промыслы, нажитые потом кровавым... Воротись, дитя! Лучшие люди отдадут за тебя своих дочерей...»

Сытой, богатой жизнью соблазнял отец, а сын, хотя и хлеба от обеда к ужину не оставалось, наук не бросил. Еще пасмурно, неясно, неустроенно было все вокруг, но в туманных даях житейского моря ярко и призывно светил свет науки. Туда, не оглядываясь, управлял Михайло корабль своей жизни.

Отец ректор однажды, положив иссохшую десницу на Михайлины соломенные кудри, сказал:

— Преуспевай, остроумец, я на тебя надеюсь!..

Однако наш остроумец, как ни старался, не мог выжать из славяно-греко-латинских фолиантов никаких любезных сердцу сведений по физике, естествознанию, математике...

До Михайла доходили слухи, что «в Европах новые науки давно пришли в явление. Для физикус и химикус сфундованы стеклянные палаты...» Об Европах мечтать было нечего, но Михайло начал собирать сведения насчет Петербургской академии. Питерских затей в Москве не признавали, и отец ректор, сделав скучное лицо, говорил: «Академия основана там без году неделю. Петр Алексеевич опару поставил, да тесто что-то худо подымается... Сидят, надувшись, немецкие и шведские персоны. При них университет — сущие казармы: семеро капралов при одном рядовом. Советую тебе в рассуждении наук опробовать Киев. Там учреждено иное и на польский образец, во вкусе новых времен... Благословляю тебя на годичное там пребывание...»

Как пчела за медом, полетел Михайло в Киев. Но оказалась верна присказка: «Жернова говорят — в Киеве лучше, в Киеве лучше, а ступа говорит — што тут, што там; што тут, што там!..»

Киевская школа отличалась от московской только тем,

что была старше лет на сотню, книги здесь были толще да мантии у профессоров-монахов длиннее. И читали они студентам из века в век одну и ту же славяно-греко-латинскую премудрость. Точных новых наук наш взыскатель и здесь не нашел. Воротился в Москву раньше срока.

Пребывание в московской и киевской школах было для будущего ученого и поэта драгоценно в тех отношениях, что он великолепно усвоил здесь языки и литературы греческую и римскую, изучил классическую философию и логику.

Философия содержит начала всех наук. Логика учит правильно мыслить. И во всех сочинениях Ломоносова, которые он потом написал по разным отраслям знаний, поражает нас отчетливость, стройность и последовательность мысли. Этому научился он в Москве.

А в Москву наш непоседа поторопился не напрасно. Здесь поджидала радость. Как достойнейшего, начальство избрало его к отправке в Петербург, в новооткрытую гимназию.

Петербургская академия наук и при ней университет с гимназией были основаны Петром Первым для распространения и умножения в России нового образования. Ученых для академии Петр набрал за границей, но с набором учеников дело худо клеилось. Наконец в столичную школу были вытребованы лучшие студенты из Москвы. Ломоносова ректор аттестовал как «юношу чрезвычайного остроумия».

Со всяким желанием, со всею охотою устремился Михайло в столицу. Здесь надеялся найти новых учителей, новые науки. Приглашенные в Россию распространять новейшее образование, немецкие профессора палец о палец не колотили в этом деле. Однако наш Михайлушко ликует. Дорвался до физики, до геометрии, до математики!.. Нох еймаль, еще раз погодите радоваться, молодой человек!

Преподаватели приехали в Россию «один десяток лет назад», и они не успели выучить «ни один русский слов...»

Учителю наплевать, что его не понимает ученик, а ребятам больше, что ли, надо!.. «Вас ис дас?.. — кислый квас» — и все тут.

Но оказалось, «на Руси не все караси, есть и ерши». Не смыслит учитель, с чего надо начать, но смыслит ученик Ломоносов. Учебники написаны по-немецки: Михайло сам их переводит ночами, сидя за словарем. Мало-помалу становятся понятнее и разглагольствования немца-профессора на кафедре. Ближе и желанные науки. Нет худа без добра! Скупой немец посадил золотую рыбку науки у себя в пруду. Разумный ученик немецкою же сетью уловил эту рыбку и унес домой на развод.

Пословка говорит: «Не родись умен, а родись счастлив». Видно, Михайлушко родился и умен, и счастлив. Уж несколько лет правительство отыскивало подходящих, знающих людей для научно-приисковой экспедиции в Сибирь. Не было химика, понимающего горное дело. Единственный знаток горного дела, профессор Генкель во Фрейберге, в Германии, посоветовал: «Не волочите делом, искавши. А пошлите ко мне академического студента по-смышленее. Я обучу горному делу и металлургии. То вам будет свое добро — дома».

Михайла Ломоносова из смышленных не выкинешь. Он и поплыл за границу... Что там поплыл — на крыльях полетел! Это случилось в 1736 году.

Но для поступления к Генкелю требовалось совершенное знание математики, физики, механики. Поэтому академия предписала Ломоносову сначала послушать лекции знаменитого физика Вольфа в городе Марбурге. Вольфа за дельные советы отличал еще Петр Первый.

И вот Ломоносов, будто к источнику живой воды, при-

пал, наконец, к тем наукам, к тому знанию, которого с детства взыскивал алчно и жадно.

«Студиозус из России есть горячего сложения. Ум живой и схватчивый...» — определяет новичка Вольф.

За опытами в лабораториях физической и химической студиозус наш проводит дни и ночи: «добрался Макар до опары»... «В часы же отдыха несытая душа моя, аки земля безводная, упивается литературою и языком французским, литературою и языком немецким, купно итальянским, и английским, и гишпанским».

Студенты шутили: «Старый Вольф рад носить русского медведя на тарелке...» Сначала действительно было так. Но однажды, приставив к носу Михайла указательный перст, Вольф спросил:

- Какие первые слова первого псалма?
- «Блажен муж...» — ответил тот, недоумевая.
- А первые слова второго псалма?
- «...вскую шаташася...»
- Вот!.. — многозначительно закончил Вольф.

Слава профессора гремела далеко, в Марбурге скоплялось много молодежи. Жили без родительского надзора. Пирушки, попойки, драки были за обычай. Наш Михайлушко после московского монастыря и питерских казарм присвоился к молодецкому веселью с полным удовольствием. На пирушках Михайло имел чин Бахуса, в венке из плюща восседал на винной или пивной бочке. Карлы, Гансы, Фрицы венчали «Бахуса», пели и пили, потом убирались восвояси, а трактирщик ставил вино в счет осовелого «Бахуса».

Если попервости Михайло стеснялся товарищей-немчиков, то теперь и в лектории, и в лаборатории сыпал им плюхи и подзатыльники: ничего, что он один, а их сотня.

Стесняясь своих могучих плеч и широких ладоней, стоит наш детина перед Вольфом и оправдывается:

— Вы сами, господин профессор, одобрили мою формулировку. А Карл оспаривает... Я лично для него с пером в руках с начала до конца проделал выкладки и раз и два... А он не слушает... Я и ткнул его мордой разика два в тетрадь...

В науках Михайло был первый, да и в проказах не последний. Шуточки шутил негоразды: как-то в праздник, в базарный день, выполз он из-под церкви на площадь, накрывшись гробовою крышкой... Народишко в реку начал бросаться... Вся затея оказалась Ломоносовская. Но консультировал целый факультет.

Иногда наш прокурат¹ вспоминал отца, родину... Тогда шел в тихий домик ратмана Цильха. Старик, ежели не заседал в ратуше, клевал носом в кресле над Библией. Дочка Лизхен вязала, шила, гладила, крахмалила... Михайлушко помолчит, спросит:

— Для чего гладите вы это белое нарядное платье?

— Я глажу это нарядное платье для того, чтобы надеть в воскресенье, если к нам придет в гости господин Ломоносов. Но я выгладила еще много маленьких белых платочков.

— Для чего гладите многие белые платочки?

— Я утираю ими слезы радости, когда слышу об успехах господина Ломоносова в науках, и плачу от горя, когда слышу о его поведении...

Вольф писал:

«Я любил видеть в лектории этот высокий лоб, этот взгляд, сияющий разумом. Но, ах! Как часто этот лоб украшается зловещею шишкой и фонарь под глазом светит ярче «сияния ума»... Царственный друг мой, император Петр Первый, успокаивая мою тревогу относительно коли-

¹ П р о к у р а т — проказник, затейник, шутник.

чества вина, употребляемого его величеством зараз, говорил: «Пьян да умен — два угодья в нем!» Увы! Вижу справедливость сего изречения на русском моем ученике. А в немецких буршах я многое понял, одного не понимаю: молодость — это крылья; юность — это боевой конь! Зачем же этому естественному скакуну эта презренная плоть, этот рабский кнут, это проклятое вино? У тех, кто пьет, впустую уходит прирожденный пафос и творческая мысль не переходит в дело... Впрочем, моего русского ученика пьяным я не видал. Хитрая bestия!

...Диссертации свои сдает ранее сроков. Они блещут творческим проникновением в предмет. Недавно он затеял ученый спор с самим Гагеном об атмосферных осадках. Ломоносов — северный помор, и умозаключения его о плавающих айсбергах прелюбопытны!..»

Ломоносов также отдавал должное этому своему учителю: «...Любовь мою к физике и математике переношу я на Вольфа и Эйлера. Это люди отменитые, а не по ихнему немецкому ранжиру поступают. Во студенчестве я от Вольфа всегдашнее снисхождение и добро видал. Немцы любят науку засолить да завялить, и солониною без нужды кормят старого и малого. У Вольфа малые сии едят молоко...»

Этим свойством истинного педагога — уметь преподнести знание не в виде сухарей, дерущих рот, а в виде... «млека и меда», то есть сделать предмет живым и интересным, — этим свойством в высшей степени одарен был сам Ломоносов — «отец наук российских»...

В Марбург Ломоносов заехал по пути, да и прогостил три года. Кроме точных наук, кроме языков и литературы, штудировал он здесь новейшую философию.

Литературу, прозу и поэзию Ломоносов любил не как развлечение. Он испытывал и исследовал все, о чем горела душа.

Вот он приехал во Фрейберг учиться горному делу. Из металлургической лаборатории его палкой не выгонишь и пряником не выманишь. Однако в это же время особенно серьезно, внимательно и плодотворно работает он над теорией русского стихосложения.

Оценив изящество и звучность стиха французского и немецкого, Ломоносов страстно принялся думать, в какой же склад и лад лучше и глаже укладывается русская поэтическая речь?.. Уже было ясно, что латинские и польские вирши, которым доселе подражали русские стихотворцы, не могут оставаться образцами.

Работой над стихом Ломоносов начал одно из великих дел своей жизни — преобразование русского литературного языка. Как раз в это время Россия взяла у турок город Хотин, и Ломоносов послал в Петербург стихи в новом вкусе: «Ода на взятие Хотина». Ода понравилась. Ее поднесли ко двору. Стали переписывать ранние, еще московские стихи поэта, вроде:

Услышали мухи
Медовые духи,
Прилетевши, сели,
В радости запели.
Едва стали ясти,
Попали в напасти,
Увязли бо ноги.
Ах, плачут убоги:
Меду полизали,
А сами пропали.

Надо сравнить эти стихи со стихами Симеона Полоцкого, которые помещались в азбуке:

Древнии веждеству образ даяху,
зрящую в ноши сову писааху.
Якоже бо она во тьме прозревает,
такo и вежда в делех правды знает.

То есть: «Древние люди изображали знание-мудрость в виде совы. Так же, как сова видит ночью, образованный знает суть вещей».

Обыкновенно бывает так: кто посвятил себя поэзии или живописи, тот равнодушен к математике, к физике. Но талант Ломоносова был всеобъемлющ. Вдохновенно любя стихи и поэзию, едва ли не с большим волнением слушал он лекции Генкеля о богатствах земных недр. Мысленному взору юноши представлялись сокровища Урала и Сибири раскрытыми, явленными...

Первое время у профессора Генкеля и студента Ломоносова отношения были мирные. Но вот этот студент пишет приятелю в Россию: «В спасских школах почитали мы скаредом келаря Варнаву. Поглядел бы ты немецкий обиход! Генкель свечу лучше мышам скормит, нежели зажжет не для дела. Общая площадь заплат на камзоле превышает общую площадь целого места. От поставца с серебром и порцелином ключ девять годов утеряли. Тому рады и едят из оловянных торелей троеденную кашу. Мягкого хлеба вкуса не ведают, доедают вчерашний».

Начались неприятности. Дело в том, что в Марбурге Ломоносов наделал долгов. Учитывая воинственный нрав русского юноши и тяжесть его десницы, марбургские трактирщики помалкивали до времени. Но лишь только Михайло Васильевич сменил резиденцию, к Вольфу посыпались счета: «Под заглавием студента Ломоносова выпито бо-чонков столько-то...» Вольф отправил счета в Петербург. Академия оплатила, но во Фрейбергский университет была дана жесткая инструкция насчет выдачи Ломоносову казенного пособия. Ставилось в известность, что долгов никто платить не будет. Для нашего добра молодца настал великий пост. В инструкцию из Петербурга он мало верил, взвалил всю вину на скаредность Генкеля: «Как жил я у

Генкеля в столе, и прејскурант он мне ставил, что двинский плотовщик хозяину:

Сел паром на мели — три рубли,
сняли паром с мели — три рубли,
попили, поели — три рубли.
Итого: тридцать три рубли!»

Когда студенты учиняли дебош, Генкель считал зачинщиком Ломоносова. Однажды обвинил даже в покушении на жизнь своего сына.

Михайло возмущается:

«Кайафа (Генкель) рассказывает ябеду, будто се я ево сына топил. Я не топить, я носил ево крестить для того, что католицкое обливание почитаю недовольным. И я Генкелева Яшку трижды благочестно огрузил в реку. И то ему, Яшке, на пользу. Кряду прочухался и стрелой от меня полетел. А к купели я его, эдакова пьяную тушу, на себе нес, сам будучи худ на ногах...»

Но в конце концов на чужой стороне растерял Михайлушко свою веселость, готовность к шуткам и проказам. Нотка горечи слышится в его письмах:

«Заместо беспристрастного ученого колоковия на дыбу меня Кайафа тянет. Туды вопросы закидывает, где и самому не достать. Битый час гоняет, и я ни в чем не плошаю, ответ пущаю со смелостию. Токмо пот по спине, по жолобу бегит в башмаки... Ажно я на Генкелеву доuku плюю. Я в товарищах злорадство примечаю и обижусь до слез...»

Давно ли кругом виделись берега садовые, реки медовые? А наяву оказалось, что чужедальняя сторонущка тоскою посеяна, слезами полита, горем огорожена... Всякая немецкая щепиночка торчком встала, всякий угол толкнуть норовит. Опостыдела Германия, и — не стерпела душа, на простор пошла. Не спросившись, не сказавшись, не глядя

на зиму, пошел Михайло Васильевич в город Лейпциг к российскому консулу, просить об отправке на родину. Оказалось: консул отбыл в Кассель. Михайло притопал в Кассель: консул не бывал, и не ждут, и не слышали...

Где деться?.. Деньжонками обнищал, платишком обносился... И пришло на мысль, что в Марбурге жил не хуже людей. Вспомнил старого Цильха и Лизхен... и сердце согрелось: «Вот кто меня жалеет...» Явился в Марбург, как майский день. Оказалось, Лизхен плакала не над горсточкой — над пригоршней: у нее умер отец. Михайло Васильевич осушил слезы.

— Лиза, пошла бы ты за меня?

— Кроме тебя, у меня никого не осталось...

Но «князь первобрачной» вскоре сказал своей «первобрачной княгине»:

«Лизхен, вот мы пообещались жить вместе и умереть вместе, но я в Германии гнезда вить не буду. Я в России родился, там и пригодился. Сплаваю в Амстердам. Там консул — природный россиянин. Он меня отправит в Петербург».

К весне Рейном-рекою управился Ломоносов до Амстердама. Но природный россиянин граф Головкин даже не принял бедно одетого студента. Ломоносов являл свои аттестаты, граф был глух и нем. Не взвеселили и архангельские поморы, стоявшие кораблями в порту. Они всячески отсоветовали являться в академию без вызова.

Земляки от Амстердама плыли в Питер. Повезли с собой и бумагу Ломоносова о вызове. А Васильевич опять потопал в Марбург, ждать...

Чтобы убавить дорогу, пошел через Пруссию. Тут едва убежал великой беды: прусский король объявил поголовный набор молодежи. Вербовщики гоняли по всем дорогам. Михайло и нарвался на них. Пруссаки похвалили рост и поступь молодецкую, поднесли чару зелена вина и поздра-

вили с чином гвардейца его величества прусского короля.

— Я прусскому королю не подвержен!

— А что с тобой разговаривать! Надеть ему браслеты!

В кандалах привезли в крепость. Ломоносов три дня хвалил Пруссию и казармы. Его расковали, но ход из крепости был через караульню. Ломоносов сменял сапоги на вино, напоил часовых и, когда они заползали по полу и задрались, выпал оконцем из крепости и побежал. Но уже обутрело. С крепости выстрелили. Побег был обнаружен. Беглец завалился в канаву под мост. Таился тут весь день. Четыре раза погоня проезжала над его головой: под мост заглянуть не сдумали.

В потемки прянул в лес не хуже зайца. Ночью перебрался через прусскую границу. И на следующий день безопасно и безбедно шествовал вестфальскою землею, не подвластной прусским королям.

Лизхен только что наладилась по крайней мере год реветь, ожидая свидания с милым другом, а он, что заря у оконца, стоит:

— Ох, Лиза! Ходил ни по что, принес ничего! В капкане еще был у прусского короля... А из Питера велют ждать вызова...

— Жди! Сиди! Я хоть месяц, хоть недельку с тобой еще покрасуюсь!

И... год прожил в Марбурге, занимаясь науками.

Не вспомнил никаких досад и Вольф. Всю зиму ходил к нему талантливый ученик: начал переводить на русский язык капитальный труд Вольфа — «Физику».

Весною был получен вызов из России, и на первых кораблях, по распуте, поплыл счастливец в Россию. Жена опять осталась ждать.

— Была бы я алмазная искра, унес бы ты меня в своем перстне!

— Лиза! Я поехал вить свое гнездо. Зимовать и ты ко мне прилетишь!

Последнюю ночь корабельного плавания не спал, в каюту не заходил. Так и стоял, так и ждал, скоро ли-де всплывет русский берег.

«...Но на рассвете вздремнул и увидел сон необыкновенный.

Вижу, будто мой корабль огибает остров Моржовец, что в горле Белого моря. Вхожу в губу Глухую. Падает снег. На берегу карбас, в нем, под снежной пеленою, человеческое тело. Я рукою охитил снег с лица и... узнаю отца. Он испытно глядит на меня и вопрошает: «Дитятко, ты меня на страшном суде не будешь уличать, что я тебе встать на ноги не пособил?»

И я будто отвечаю ему:

— Нет, татушка, не буду. А ты на меня вечному судии не явишь, что я тебя при старости лет бросил?

— Нету твоей вины, дитятко!

И тут его накрыла метель. Это побережье Моржовца мы не раз навещали с отцом ради промысла. В Петербурге я поспешил разыскать своих земляков-двинян, весенних гостей столицы. Они уже стояли кораблями на Неве. Здесь встретило меня известие, что отцов корабль не вернулся прошлой осенью с промысла. Неведомо и то: на каких берегах погиб... Я, — рассказывает далее Ломоносов, — немедленно отправил на родину депешу, дабы искали в Глухой моржовецкой губе. Послал и деньги, потребные к расходу по сей экспедиции. Снаряженный из Архангельска гальот нашел останки отца моего в указанном мною месте. Понеже грунт явился кремнист, накрыли кости бревенчатым обрубцем».

Хотя при царице Елизавете немецкое засилье ослабло, российскую Академию наук продолжал держать в своих цепких руках советник Шумахер. Он поддерживал профессоров-немцев, и один из русских членов Академии, сподвижник Петра Карпов, жаловался Ломоносову:

— Накрыл нас горстью Шумахер. Жужжим, да бьемся!

Немцы поглядывали на Ломоносова с любопытством:

«Этот учился в Германии и нахватался немецкого духа».

Ломоносову дали чин и должность при Академии. На заседании он говорил:

— Вот я расправляю крылья свои на родине. Академия моя, ты даешь мне крылья! Изволяю до последнего вздоха послужить отчизне разумом и знаниями моими. Академия моя! Блаженна ты, ежели во мраке невежества вознесешь светоч разума, ежели в сердцах россиян возгнетишь любовь к наукам!..

Шумахер с компанией стукали табакерками, чихали, здоровствовались, казали оратору кукиши под столом. Шумахер говорил:

— На ретиву лошадку не кнут, а вожжи!..

Ломоносов с малых лет бился и изнемогал, чтобы отцу и всем старшим доказать, что науки нужны и полезны... Теперь Ломоносов — член Академии наук. Теперь не отцу, не мачехе, а всему народу русскому он должен и может показать важность, надобность образования...

Ломоносов писал: «Весь свой век я науку любил бескорыстно. Блаженство мне в ней единой полагал... А люди глядят, каков от его наук доход, во что одет ученый, что ест да что пьет?.. А глаза попялят да рукой махнут: «Решетом в воде звезды ловит».

Для России было счастьем, что столь деятельный, столь гениальный ум оказался направлен в сторону наук, наиболее нужных в то время стране и народу.

Отец, бывало, доказывал сыну:

— Твоя наука от житья-бытья отводит. Моя наука, что ложка у обеда, что игла у портного. Хожу в море и промышляю, руководствуясь собственным опытом и вековыми дедовскими приметам.

Сын устраивал лабораторию, отправлял научные экспедиции и тем как бы с отцом беседовал, отцу доказывал:

— Вот, татенька, и я в моем деле опыты и приметы применяю. Ежели поэзия и философия — суть соловьи в небе, то физика моя и химия — это синица в руках... Еще и то ведай, татенька, что и твой опыт, морской и промысловый, во свою многополезную сокровищницу наука прибрала.

Скоро немцы горько спокаялись, что «неистойой особе поручили важную комиссию». Думали: сядут да поедут, а вышло: ты впрягать, а она лягать!.. Бывало, Шумахер сам-друг с зятем Таубертом дела вершит. А Ломоносов всякого сословия к заседанию назовет да наберет. К президенту ездит без доклада канцелярии. А сам — великая ябеда: тихи-де у нас наряды, не скоры у нас повороты. Канцелярия-де по году всяким делом волочит.

Ломоносов действительно шумел: еще батюшка Петр Алексеевич приказывал послать в Сибирь по минералам, а Шумахер тем приказом дверь оклеил... К делам академиков не допускает, а сам тихо едет, что горшки везет: «Тихой воз будет на горе!»

«Часы наши считанные», приедешь в канцелярию с делом неотложным. Шумахер сидит боком; вместо ответа вынет свою табакерку, постучит по табакерке, откроет табакерку, держит табак щепотью, ненося еще к носу. Вдруг нюхнет обеими ноздрями. Закроет табакерку, утирается, чихает, сморкается. Ты с огнем, а он с водою... а се и своя братия-академики тужат на меня: не суй палку в подворот-

ню, не дразни собак! Что ты из кожи рвешься? «Жалованьишко нам казна по году не платит, изданьев-де лежа-
лых у нас и мыши не едят, разбирайте да продавайте...»

С приходом Ломоносова стали чаще заседания Акаде-
мии. Шумахер презрительно кривил губы: «Не поспеет
кошка умыться, у Ломоносова прожект готов... На Белом-
де море железо и серебро, соль и слюда. А Яик-де — река
золотая. А Кемь-де — река жемчужная. Наш Миллер его
как шапкой накрыл:

«Учителю премудре, учи нас! Бутто се мы того и не
слыхали. Батюшка Петр Алексеевич не тебе, мужику, чета,
а недалеко уехал, понеже народ — смерд, непросвещенной
грубиян!»

И Ломоносов по столу кулаком грянул, ажно скатерть
в трубу завилась:

— Немцы с Бироном благоцветущие всходы Петровы
копытами своими притоптали. Кабы-де не дщерь Петрова,
немец бы нас съел!..

Вот и завелась у Михайла Васильевича с немцами
дружба: схватятся, дак колом не разворотить...

Немцы долбили, как дятлы, что русские Иваны только
на печи лежать горазды. Не поспел Ломоносов разослать
по Уралу требованье от лица Академии о присылке на
образец минералов, горных пород, — отовсюду откликну-
лись голоса любознательные. Призывные ломоносовские
грамотки, мол, как весенние листочки. Знать, дело Пет-
рово не умерло! В одно лето Академия собрала знатную
коллекцию минералов, уральские домодельные старатели
начали ссылаться с Академией письмами.

При университете Ломоносов устроил физическую и
химическую лабораторию. Не было приборов, не было по-
суды для опытов по химии, физике. Ломоносов исколотал
и учредил стекольный завод. При заводе была особая

мастерская, где Михайло Васильевич сам выдувал колбы и шлифовал оптическое стекло.

С помощью изобретенных им приборов для наблюдений за звездным небом Ломоносов установил, например, что планета Венера окружена слоем воздуха, имеет атмосферу.

При своем доме ученый устроил кабинет для электрических опытов. Эту силу природы тогда впервые начали серьезно изучать. Исследованиям Ломоносова принадлежит одно из первых мест. Михайла Васильевича однажды чуть не убило грозovým разрядом. Своему покровителю графу Шувалову он пишет:

«За диво почтите, ваше сиятельство, мое письмо. Жив остался дивом, а товарищ мой Рихман тою же грозовой силою убит. У меня жена зашумела, что-де шти остынут, и я пошел обедать... Рихман умер прекрасною смертью за науку, на своем посту. Ходатайствую перед государыней о помощи семье Рихмана, чтобы и сын его вырос таким же наук любителем, каков был отец...»

Изготавливая цветное стекло на заводе, Ломоносов вспомнил виденные им на стенах древних киевских церквей прекрасные мозаичные иконы. Из мелкого граненого стекла на мастике древние художники составляли целые картины. Мозаика может простоять тысячи лет... Ломоносов учреждает мозаичную мастерскую. Лучшая из мозаичных его работ — «Полтавская баталия», картина из цветного стекла на медном листе во всю стену. Рисунок и колорит ломоносовских мозаик доказывают, что великий ученый был и художником с большим вкусом.

Живой творческий ум и ученая любознательность Ломоносова не имели границ. По монастырским книгохранилищам разыскивал он древнерусские летописи. По ним составили «Историю Российскую». За этой работой следил Шувалов. Он ценил Ломоносова больше всего как поэта,

который «чистый слог стихов и прозы ввел в Россию». Ревниво и капризно требовал стихов и гишторий поэтических: «Брось, брось, Михайло Васильевич, свои стеклянные дудки и блюдки, пусть их перемывает Дарья. Плюнь в свою химическую кухню. Твое место Парнас, а орудие — лира...»

Поэт отвечал: «Великие люди, Невтон и Франклин, Эйлер и Вольф, тем дышут, что вы кухонным делом величать изволите. Сказывают: делу время, потехе час. Этот час иной посидит за картами, иной за бильяром. Мне мой потешный час да позволено будет провести в моей кухне. С тем живу и умираю...»

Сильная рука Шувалова по возможности отодвигала от Ломоносова козни завистников. Ученому было пожаловано поместье. В петербургском его доме жена Лизавета Генриховна с дочкой учинили весь обиход на русский образец. Но хозяин мало бывал дома. Под его команду был отдан университет с гимназией, и «семеро капралов над одним рядовым» заменились иною картиной. Ломоносов был как матка в улье. Памятуя трудности, с какими ему пришлось добывать образование, Михайло Васильевич много хлопотал о допущении в университет крестьян. Но Шумахер с компанией ошетинились, как звери.

— Нам не десять Ломоносовых надобно, довольно одного! Великую я прошибку сделал в своей политике, — кричал Шумахер, — что допустил в Академию Ломоносова!

Горячность, страстность, вспыльчивость, готовность ежечасно умереть за свою правду, праведный гнев, движимый на всех, кто мешает и не радуется об умножении наук в России, — эти свойства Ломоносова и врагов ему создавали и ярость их поддерживали.

Однако гений архангельского мужика сиял столь светло, что загородить этот свет уже было не под силу никому.

В области литературы Ломоносов знаменит не только торжественными одами, стихами. Он явился первым преобразователем русского литературного языка.

До Ломоносова приняты были в литературе формы церковнославянской речи. Писатель подбирал слова особливые, книжно-старинные, и склонял и спрягал эти слова на церковнославянский манер.

«Прочтоша, написаша», «беззаконновахом, неправдовахом». Вместо «еще, если, тотчас» писали «паки, аще, абие». Письменная речь пестрела славянизмами: «иже, якоже, понеже...»

Говорили русские люди тем же языком, что и мы говорим, но употреблять «простой» язык в сочинении книжном считалось невежеством и необразованностью.

Ломоносов отделил, разграничил русский язык от церковнославянского. Составил первую грамматику языка русского. Народный русский язык получил достойную честь и самостоятельность. Но преобразователь все же советует поэтам учиться красотам и важности церковных книг.

Поэты наши вплоть до Пушкина писали: дщерь, власы, брада, праг (порог), млеко, злато, младый, драгий... По заветам ломоносовского «высокого штиля» поэты наши долго конфузились слов «низких», уличных, простонародных. Оберегая от низкости поэзию, ученый наш для прозы разрешает — «на щи и на квас» — язык народный.

Ломоносов восхищался явлениями природы как поэт и вникал в них как ученый. Исследовал грозы и бури, звезды и северное сиянье и попутно слагал о том же торжественные песни. Такова возвышенная ода «Вечернее размышление о божием величестве при случае великого северного сияния»:

Лице свое скрывает день,
Поля покрыла мрачна ночь,
Взошла на горы черна тень,

Лучи от нас склонились прочь.
Открылась бездна, звезд полна:
Звездам числа нет, бездне дна!

Как первостатейному поэту Михайлу Васильевичу поручено было составление поздравительных стихов «на случаи знатных происшествий придворных и всенародных». Ко двору императрицы Елизаветы, затем Екатерины постоянно требовались «именинные», «новорожденные», «салфет»-стихи. Великий ученый бросал свою лабораторию, прерывал лекции и шел сочинять куплеты. Он шутил над собой:

У физики с химией
Пот проливаю.
А за вирши, за басни
Хвалы пожинаю...

Однажды государыня пригласила Михаила Васильевича ко двору с докладом о последних работах. В кружке придворных дам было сообщено о причинах бурь и ветров. По докладу ученый осведомился, сумел ли он быть понятным. Императрица обращается к фрейлине Голицыной:

— Дарьюшка, ты уразумела ли?

— Чего не понять, — отвечает Голицына. — Господь батюшка чем хочет, тем и шумит...

— То так, — продолжала Елизавета, — а у меня до тебя, господин советник, дело: рассказывают по секрету, что живописец Растреллий ко дню нашего тезоименитства доспевает альбум на красках. Птички, фортуны, капидоны. И тебе бы, Михайло Васильевич, в тот альбум сочинить гратуляцион. Против тебя никому не потрафить!..

С Шуваловым Елизавета говорила:

— Какова Академия-та? Слышь-ка: Шумахер с Ломоносовым в два веника метут?

— Жалуется наш поэт: я-де с огнем, Шумахер с водою...

— А ты скажи Михайле-то Васильевичу: «Не бойся-де, огонь, кочерги!»

В правление Бирона немцы повадились страшать русских людей. Наш Михайло Васильевич сам пугнул их до смертной икоты.

Семье Ломоносовых неустанно досаждал их сосед Штурм, приятель Шумахера. Лизавета Генриховна разводила цветы, любила курочек, котятков. Штурм лил помои в цветник, давил у Лизхен кур и кошек. Михайлу Васильевичу все некогда было заняться этим делом. Разве встретятся со Штурмом, приставит ему кулак к носу или тряхнет за шиворот. Но однажды чаша праведного гнева переполнилась. Вот что доносил Штурм:

«Торжества моего день рождений омрачил злодеяния Ломоносова. Двадесять немецких господ и дамен, моих гостей, пошел воспевать невинный мадригал в Ломоносов палисад. Внезапно на головы воспеваемых господ и дамен из окна Ломоносовквартир упадает пареных реп, кислых капуст, досок и бревна. Я и мой зупруга сделали колокольный звон на двери, но он вырвался с отломленным перилом и вопиюще: «Хорошо медведя из окна дразнить!» — гонял немецкий господ по улица, едва успел гостеприимная дверь захлопнуть всех моего дома. Но два даментуалет похитил на ходу и терял клейнод на передку. Я и моя зупруга маялись на балкон поливать его водами и случайно, может быть, ронялись цветочными горшками. Но Ломоносов вынес дверь на крюк и сражался в наших комнат. Стукал своим снастием двадесять господ. И дамен выскакнили окнами и везде кричали караулы! Дондеже явился зольдатен гарнизон!!»

Известно, что во время этого сражения Михайло Васильевич сам был изрядно ранен, сидел на гауптвахте и ходил в университет с повязкой на лбу.

В Питере сложили песню:

Немец гут,
А русский тут!

А дочь Петрова перед иностранными гостями хвалилась, что-де «русский немцу задал перцу!..»

— Вам смех, а мне смерть! — говорил Михайло Васильевич друзьям. Он с горя все сидит, стаканчиком в столешницу колотит... — Вам смешки, мне перевертышки: историки Миллер и Шлецер, состоя на русской службе, тасуют, что карты, свои выборки и выметки из наших летописей, сшивают на Россию пашквиль и печатают за границей. Шлецер косоротится: какой Ломоносов историк, токмо-де похвальная восписует, в свою пользу насаживает... Нет! Сердце, любящее родину, никогда не солжет! Я сын отчизны, а они нахлебники! Повадились думать: русак дурак и век будет в чину учимых... Нет! Придет и наш черед садиться наперед!..

Друзья говорили:

— Михайло Васильевич, в твоём лице русский народ вперед пошел. Академия что квашня на холоду стояла. Тебя бог послал, будто дрожжи добрые. Тесто науки российской кряду поднялося. Ломоносовской закваски хватит Академии на внуков и на правнуков.

По случаю десятилетия царствования Елизаветы Академия готовила торжественную ассамблею. Ждали государыню. Шумахер с канцелярией чуть в уме не повредились: кому поручить парадную речь?

Шумахер говорил:

— От президента сказано: Ломоносов у нас величав и красноречив, а там судите сами... А как судить самим? Мы от Ломоносова так в обморок и падаем... Если возможно, да минет нас чаша сия!.. От оратора требуется картинный вид и звонкоглаголение. Вот кандидат вам — Гаген. Видом есть как лев, но голос как комар и муха... Кандидат фон

Шульц: голосит, как стрельба из пушки, но внешний вид как маленький зобачка, до старости щенок, из подворотни... Профессор Глянце, егда говорит, машет руками, сучит ногами и кланяется в пояс... Советник Минервин на масляной публично плясал вприсядку и лазил на мачту за кренделем... Выходит, что Ломоносов один имеет фортуны во всем: и ростом, и дородством, и постатью... «С ужином раженные огнем не обедаешь!»

— «Суженого, ряженого конем не объедешь», — уныло поправляют канцелярские писцы.

Одним из самых славных деяний Ломоносова было основание и устройство университета в Москве.

«Я сие великое училище задумал и обдумал, охлопотал, выносил его и породил; горячими слезами воспитал и жить пустил, и за гробом стану о нем бога молить...»

Ломоносов и план чертил, и кирпич сортовал, и за кладкой следил, создал образцовый университетский устав, излюбовал и избрал профессоров, экзаменовал студентов.

Для подготовки юношества устроил две гимназии.

Шувалов помогал здесь особенно ревностно и ходатайством, и покровительством, и безотказной денежной казной.

Всякий год в июне месяце у Ломоносовых бывали морские гости — земляки из Архангельска. Они привозили гостинцы: рыбу, житные колобки, ягоду-морошку. Однажды привезли и племянника. Сестра писала: «Научи, милый брателко, на дела на добрые, на речь на умильную, на походку постатную...»

Брат отвечал сестре: «Государыня моя Мария Васильевна, здравствуй на множество лет с мужем и детьми! Мишенька приехал в добром здоровье, и то мне на него добре радостно, что научен читать хорошо и пишет для ребенка нарочито. Сделали ему кафтан василькового сукна, петербургского шитья. Волосы полюбил убирать по-нашему и пудрить, и кланяется пышно по-французски. На Кол-

могорах его бы теперь и не узнали. Удивительно, что Мишенька и виду не показал, чтобы тосковать или плакать. Тотчас к нам и к нашему кушанью привык, как век у нас жил. При Академии наук есть гимназия, состоящая под моею командою. Здесь Мишенька будет жить и учиться. По воскресным дням и праздникам будет у меня гостить с ночевкою. От меня приказано учить его латинскому языку, арифметике, письму и танцам. Будь спокойна, сестрица, я стараюсь о нем, как добрый дядя и отец крестный. Хозяйка моя всплакнула не раз, каково-де тебе было с детищем расстаться. Так же и дочь моя нянчится с малым и жалеет его. Не сомневайся, сестра, что сын твой через науки счастлив будет».

Этот Мишенька Головин пошел по стопам дяди. Был впоследствии математиком и физиком, членом Академии наук.

Михайло Васильевич не дожил до старости. Весною 1765 года он простудился и 4 апреля умер.

Перед смертью говорил другу своему Штелину:

— Я пожил, потерпел и умираю спокойно. Жалею только, что не мог завершить все, что делал для родины, для блага науки в России, для славы Академии. Не тужу о смерти, дети отечества вспомнят обо мне и пожалеют...

Удивительная была жизнь Ломоносова, прекрасно дело его жизни, незабываемы слова к русскому юношеству:

О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих,
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте, ныне ободренны,
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать!



Мастера преизыщные



ПОМОРСКАЯ БАЛЛАДА

Старина о Варлаамин Керетском ¹

С начала XIX столетия литературная поэзия Западной Европы обогащается сюжетами народных легенд и сказок. В моду входит романтическая баллада.

Эта эпоха увлечения народной романтикой имела в России своеобразное отражение. Несмотря на то, что, например, пушкинская обработка национальной русской сказки могла бы дать верное направление вкусам читателя, вкусу этому больше импонировал дурно понятый европеизм.

Произведения нашей устной народной романтики не были собраны в достаточном количестве и не были преподнесены читателю в литературно-художественной форме. Русская народная баллада осталась в тени, как нечто доморощенное, простоватое. Пожалуй, и сейчас слово «баллада» у нас ассоциируется с понятием о балладе французской, шотландской, но кто слышал о балладе Холмогорской или Соломбальской?

Тем более, что этот вид народной поэзии и в теориях словесности разнесен по рубрикам — духовного стиха, семейной песни, старины и т. п.

В свое время автору этих строк приходилось слышать:

— Вот ты дышишь этими былинами, а есть ли у поморов что-нибудь подобное английским балладам? Создали ли северные мореходы своего «Летучего Голландца»?

На ответ я сказывал поморские баллады. Я знал их довольно количество. Слушатель говорил:

— ...Это культура своего угла. Существует большая, широкая культура. Ты читал «Бретонские легенды»?

¹ Село Кереть на западном берегу Белого моря.

И непонятно было, почему беломорские баллады не могут считаться достоянием «большой», общеевропейской культуры?

Настоящая книга посвящена Студеному Морю. Для образца традиционной морской баллады приведу я песенное сказанье о Варламии Керетском.

Согласно рукописного «жития», Варлакий жил в XVI веке, был протопопом соборной церкви города Колы. Красавица жена изменяла ему с приходящим в Колу скандинавом Олафом (или Фарлафом). Варлакий убил жену, положил ее тело в лодью и отплыл в Океан. Житие говорит, что после долгих путешествий Варлаам поднялся в Белое Море, причалил к берегу около села Кереть, похоронил жену в каменной вараке и сам остался тут для пустынного подвига.

Устное, песенное предание утверждает, что Варлакию во искупление убийства определено вечно плавать во льдах Северного Океана.

Балладу о Варламии слышал я в дни юности от своих семейных в г. Архангельске. Пелись уже только отрывки. Забытый стих пересказывался простой речью.

.
Иерею Варлааме,
где твоя молода жена?
— Она ушла в гости к татеньке,
ко родителю — маменьке.
— Нет, иерею Варлааме,
твоя жена за гульбой ушла.
Ночью в город Фарлаф на лодьи прибежал,
по твою госпожу в божью церковь послал.
Она, боса и пьяна,
с корабельщиком целуется,
со фарлафами валяется.
Поп Варлакий зачнет их колом огородным
градить:
— Про мою госпожу так не смей говорить!

Она жена нереша,
она краса несказанная!

Поп Варлаамий о паске обедня служил,
по собору свещу со цветами носил,
«паска красная» пел.
— Не видали ли, миряна, где девалась госпожа?
Она дома ночевала и к обедне шла...

— Твоя госпожа
за гульбою ушла.
Ночью в город Фарлаф
на лодье прибежал:
по твою госпожу
в божью церковь послал.
Она теперь пьяна,
боса и без пояса.
С корабельщики валяется,
со фарлафами целуется
Поп Варлаамий с свещей и с цветами на пристань
идет и свою госпожу с воплем крепким зовет:
— Без тебя дома пиру нет!
Без тебя в церкви пеня нет!

Жена отвечает ему:
— Я одежды поповской боюсь,
я твоей бороды не люблю.
Полюбила я молодчика кудрявенького,
я Олафа, я Фарлафа расхорошенького.

Поп Варлаамий с плечей епитрахиль сымал
и святой епитрахилью жене белы руки вязал...

Затем он привел жену в собор, становил против алтаря,
покаял жену последним покаяньем и, взяв с престола копье,
метнул копье в жену. Она бежит по церкви, прячась за
столпы. Но копье настигло ее...

Поп Варлаамий во гроб госпожу,
как к венцу, снаряжал.

Космы пьяные ей на челе
благочестно сплетал:
— Спи, жена иереева,
спи, краса несказанная!

Взвалив гроб-колоду на плечо, Варлакий идет к лодейным причалам, к морю. Фарлаф и его дружина не успели отчалить. Варлакий занес коладу на варяжский корабль, поставил свою ношу у середовой мачты. Потом, ухватя якорь, перебил всю варяжскую дружину, в том числе и Фарлафа.

Сбросав трупье в воду, Варлакий приготовился к отплытию. Народ принес сноп воскояровых свеч. Их зажгли вокруг госпожи.

Отдали причалы, Варлакий открыл паруса. Скричала гагара за синим морем. Набежала полоска тумана и скрыла уходящую лодью.

С той поры, говорит легенда, век прошел за веком. Варлакий ходит по Седому Океану вдоль кромки льда. Лодья всегда окутана туманом. Варлакий сидит у руля и не спускает глаз с лица жены, красота которой не померкла. Века проходят за веками, но —

Не устал Варлакий
у руля сидеть.
Не уснул Варлакий
на жену глядеть.
Не умолк Варлакий
колыбельну петь:
— Спи, жена иереева,
спи, краса несказанная!

Когда весною к тому или другому берегу Белого моря наносило туман, старики говорили: «Варлакиева лодья подплыла».

Отец мой, бывавший в Северной Норвегии, говорил, что, когда с Мурманского берега подвалит туман к Варде п Вадзе, рыбаки-норвежцы шутят:

— Русский поп жену привез.

М. Д. КРИВОПОЛЕНОВА

Родина Марьи Дмитриевны Кривополоновой — река Пинега, приток Северной Двины. На Пинеге и в начале века двадцатого можно было увидеть деревянную Русь. Там во всем: в архитектуре, в одежде, в песнях, в домашнем быту — Русь в лице граждан Великого Новгорода освоила Север еще в четырнадцатом веке.

Неграмотная, но любознательная Кривополонова рассказывала о продвижении Руси на Север так, как будто сама в тех походах участвовала.

«Прежде на Двине, на Пинеге, на Мезени Чудь жила: народ смугл, и глазки не такие, как у нас. Мы — новгородцы, у нас волосы, как лен белый, тонкий, как сноп желтый.

Мы, еще там живучи, парусов не шили, карбасов не смолили, а Чудь знала, что Русь придет: в здешних черных лесах березка явилась белая, как свечка, тонкая.

Вот мы идем по Пинеге в карбасах. Мужичи в кольчугах, луки тугие, стрелы перённые, а Чудь, бажоная, давно ушла. Отступила с оленями, с чумами, в тундру провалилась.

Вот подошли мы под берег, где теперь Карпова гора. Дожжинушка ударил, и тут мы спрятались под берег. А чудские девки, они любопытные. Им охота посмотреть, что за Русь? Похожа ли Русь на людей? Они залезли на рябины и высматривают нас. За дождем они не увидели, что мы под берегом спрятались. Дождь перестал, девки

подумали, что Русь мимо пробежала: «Ах, мы, дуры, прозевали!»

Было утро, и был день. Наши карбасы самосильно причалили к берегу. Старики сказали: «Это наш берег. Здесь сорока кашу варила».

Тут мы стали лес ронить и хоромы ставить.

В эту пору здесь у водяного царя с лешим царем война была. Водяной царь со дна реки камни хватал и в лешего царя метал. Леший царь елки и сосны из земли с корнем выхватывал и в водяного царя шибал. Мы водяному царю помогали. В благодарность за это водяные царевны не топят ребятишек у нашего берега.

Это все мой дедушка рассказывал. Он от своих прадедов слышал. От них и былины петь научился. Я у дедушкиных ног на скамеечке сидеть любила, и с девяти лет возраста внялась в его былины, и до вас донесла».

Имя сказительницы Кривополеновой известно было науке еще в конце прошлого столетия. Но записи ее былин покоились в академических шкафах, а Кривополенова, рано овдовев, жила в большой бедности: «Не замогу работать — пойду побираться».

На свадьбах невестины речи пела, на похоронах вопила. Так прожила до 72-х лет.

В 1915 году произошла встреча Кривополеновой с московской артисткой Ольгой Эрастовной Озаровской.

Озаровская писала в Москву: «Собирая словесный жемчуг на Пинеге, уловила я жемчужину редкой красоты. Везу ее в Москву».

Если Кривополенова была жемчужиной, то Озаровская явилась для нее оправой червонного золота.

После говорили, что Кривополенова, еще не старая, заходила как-то в Архангельск, но поморская столица гордилась собственной песенной славой, и пинежская сказительница не была особо отмечена.

Помню выступление Кривополеновой в большой аудитории Московского политехнического музея.

Слушателей набралось до трех тысяч: студенты, старшеклассники, художники, ученые.

Марья Дмитриевна вышла на эстраду. Молодежь приветствовала ее рукоплесканиями и возгласами: «Здравствуй, милая бабушка!»

Кривополенова ответила тремя истовыми поясными поклонами: «Здравствуй многолетно и ты, Москва, юная и прекрасная!»

С эстрады зазвучала странная, непривычная мелодия, не схожая с русской песней. Это был голос древней былины, и слушатели восприняли его сначала, как некий аккомпанемент. Но тут же сразу вникли в слова, прониклись содержанием. Ведь былина из Киева, Новгорода, Москвы, давным-давно переселившаяся на Север, нерушимо сохраняла общерусскую, родную речь.

Но Кривополенова, блестящая исполнительница былин, сама в себе была каким-то чудом и счастьем для всех, кто видел и слышал ее. Вид ее был как вид девочки лет четырнадцати, но в темном одеянии древнего покроя.

И эта не то девочка, не то трехсотлетняя старуха всегда и везде держала аудиторию в напряженном внимании.

Слушатели воочию видели древних богатырей: Вольгу Святославича, Илью Муромца, Добрыню, слышали тяжелую поступь богатырских коней.

Сказительница рисует картину татарского нашествия:

В солнце знаменье страшное,
в полночь звезды хвостатые,
пред зарями земля тряслась,
шла орда на святую Русь.
На Руси петухи поют.
Не спит Рязань полуночная,
по стенам не спят караульщики,
по угольным башням дозорщики.

И два, и три часа пела Кривополенова, а бесчисленная аудитория воочию видела то, что внушала вещая старуха.

Посетила Марья Дмитриевна и Третьяковскую галерею. Шла по залам усталая. День ее начинался с 4-х часов утра. Но перед картиной Васнецова «Три богатыря» старуха оживилась, просияла.

— Глядите-ко, — обратилась она к окружавшим ее посетителям. — Жили-были преславные богатыри. Не сказка побаска, а жизнь бывала: Илья-то Муромец из-под ручки врага высматривает. На руке у него палица висит, свинцом налита, а ему как рукавичка.

И сказительница запела былинку:

— Взымет Илья палицу
выше могутных плеч,
жахнет палицей впереди себя,
отмахнет, отмахнет позади себя,
вправо, влево стал настегивать,
татарскую силу обихаживать.

.

Взглянув на Добрыню, запела с приятною улыбкой:

— Три года Добрынюшка стольничал
у князя Владимира в Киеве.
Три года Добрыня в послах живал
у неверных королей, у немецких.
У Добрынюшки вежество врожденное,
хитрость-мудрость природная.

В 1921-м году Кривополенова во второй и в последний раз была в Москве. Нарком Луначарский известил Озаровскую, что желает познакомиться с знаменитой сказительницей. Его ждали с часу на час. Луначарский приехал вечером. Озаровская зовет:

— Бабушка, Анатолий Васильевич приехал.

Кривополенова сурово отвечает: «Марья Митревна занята. Пусть подождет».

Нарком ждал целый час. Марья Дмитриевна, наконец, вышла.

— Ты меня ждал один час, а я тебя ждала целый день. Вот тебе рукавички. Сама вязала с хитрым узором. Можешь в них дрова рубить и снег сгребать лопатой. Хватит на три зимы.

Однажды отправилась она в дальнюю деревню. Возвращалась оттуда ночью. Снежные вихри сбивали с ног. Кто-то привел старуху на постоялый двор. Изба битком набита заезжим народом. Сказительницу узнали, опростали местечко на лавке.

Сидя на лавке, прямая, спокойная, Кривополенова сказала:

— Дайте свечку. Сейчас запоет петух, и я отойду.

Сжимая в руках горящую свечку, Марья Дмитриевна сказала:

— Прости меня, вся земля русская.

В сенях громко прокричал петух. Сказительница былин закрыла глаза навеки.

Русский Север — это был последний дом, последнее жилище былины. С уходом Кривополеновой совершился закат былины и на Севере. И закат этот был великолепен.

ДЕД ПАФНУТИЙ АНКУДИНОВ

Слава о М. Д. Кривополеновой прошла по всей России, и пожилые люди с восхищением вспоминают эту сказочную старуху.

Но были на Севере талантливые рассказчики — мастера слова, которые никогда не выступали в театрах и клубах.

Умение говорить красноречиво, дары речи своей эти

люди щедро рассыпали перед своими учениками и перед взрослыми при стройке корабля и в морских походах.

Таков был Пафнутий Осипович Анкудинов, друг и помощник моего отца.

Хвалил ли, бранил ли Анкудинов своих подручных, проходящие люди всегда остановятся и слушают серьезно.

Помню упреки, с которыми Анкудинов обращался к одному сонливому пареньку:

— Лежа, добра не добыть, лиха не избыть, сладкого куса не есть, красной одежды не носить.

Молодежь рада бывала, когда шкипером на судно назначался Анкудинов.

В свободный час Анкудинов сидит у середовой мачты и шьет что-нибудь кожаное. На нем вязаная черная с белым узором рубаха, голенища у сапогов стянуты серебряными пряжками. Седую бороду треплет легкий ветерок. Ребята-юнки усядутся вокруг старика.

Мерным древним напевом Анкудинов начинает сказывать былину:

— Не грозная туча накатила, ударили на Русь злы татарове. Города и села огнем сожгли. Мужей и жен во полон свели...

Мимо нас стороной проходит встречное судно. Шкипер Анкудинов берет корабельный рог-рупор и звонко кричит:

— Путем-дорогой здравствуйте, государи!

Шкипер встречного судна спрашивает:

— Далеке ли путь держите, государи?

Анкудинов отвечает:

— От Архангельского города к датским берегам.

И встречное суденышко потеряется в морских даях, как чайка блеснув парусами.

И опять только ветер свистит в парусах да звучит размеренный напев былин.

Мы любили рассказы Анкудинова о древних временах.

Эти рассказы часто похожи бывали на сказку. Вот один из таких рассказов:

— В древние времена русская земля покрыта была дремучими лесами. Стольным городом числился Владимир. Тогда же, тысячу лет назад, начала заводиться Москва. А владимирцы того и не ведали. Однажды московская княгиня спустилась к реке прополоскать веник и упустила его из рук. Течением этот веник принесло к городу Владимиру. Владимирцы догадались, что где-то на ближней реке поселились люди, и дознались, что в глухом бору, на холме начала строиться какая-то Москва.

Мы, подростки-школьники, спрашивали:

— Откуда такие подробности, дедушка Пафнутий?

— Не то в летописях читал, не то от стариков слышал.

Конечно, устное сказыванье пышным цветом цвело и в домашней обстановке. Люди морского сословия ходили друг к другу в гости целыми семьями. Молодежь опять не дает покоя Анкудинову:

— Дедушка, расскажи что-нибудь.

Старик иное и зацеремонится:

— Стар стал, наговорился сказок. А смолоду на полях запою — под окнами хоровод заходит. Артели в море пойдут — мужики из-за меня плахами лупятся. За песни да за басни мне с восемнадцати годов имя было с отчеством. На промысле никакой работы задеть не давали. Кушанье с поварни, дрова с топора — знай, пой да говори. Вечером промышленники в избу соберутся, я сказываю. Вечера не хватит, ночи прихватим. Далее, один по одному засыпать начнут. Я спрошу:

— Спите, государи?

— Не спим, живем. Далее говори...

Рассказы свои Анкудинов начинал прибауткой: «С ворона не спою, а с чижа споется». И закончит: «Некому петь, что не курам, некому говорить, что не нам».

Соловецкие суда отличались богатством украшения. Я знал там ревнителя искусства сего рода. Его звали Евграф, был он отменный резчик по дереву. Никогда я не видел его спящим-лежащим. Днем в руках стамеска, долото, пила, топор. А в солнечные ночи, летом, сидит рисует образцы.

Евграф беседовал со мной, как с равным, искренне и откровенно.

Я восхищался легкостью, непринужденностью, весельем, с каким Евграф переходил от дела к делу.

Он говорил:

— И ты можешь так работать. Дай телу принуждение, глазам управление, мыслям средоточие, тогда ум взвеселится, будешь делать пылко и охотно. Чтобы родилась неустанная охота к делу, надо неустанно принуждать себя на труд.

Когда мой ум обленится, я иду глядеть художество прежде бывших мастеров. Любуясь, удивляюсь: как они умели делать прочно, красовито...

Нагляжусь, наберусь этого веселья — и к своей работе. Как на дрожжах душа-то ходит. Очень это прибыльно для дела — на чужой успех полюбоваться.

ДОЖДЬ

Эта оказия случилась годов за восемьдесят назад. Красильщики Фатьян с подмастерьями Тренькой да Сенькой Бородатым карбасом по Северной реке причаливали

к деревням, красили пóртна, набивали узором полотна. Бабы платились тем же полотняным тканьем, и дальновидный Тренька ругал мастера:

— Выискал ты реку, дядюшка Фатьян. Преудивленные народы: без денег обитают.

Фатьян отмахивался:

— Молчи ты, хилин рассудительный. Наша-та река с деньгами живет? Здесь смолу курят, мы холсты красим — денег класть не во что, кошелька купить не на что... Ужо выплывем к Архангельскому городу, холсты продадим, в барышах домой воротимся.

Архангельск встретил неприветливо. Дул шелоник¹ — на море разбойник. Тренька с Сенькой сроду не видали моря. Боязливо слушали рассказы о кораблекрушениях. Впрочем, всякий день бегали дивиться морскому чуду — пароходу. Пароход был в диковину не только деревенскому парнишке.

А Фатьяну было не до диковинок. Цены на деревенские холсты явились невыгодны. Фатьян не спал ночами, раздумывал, как быть с товаром. В таких заботах встретил земляка, именитого человека из города. Земляк выслушал Фатьяна и сказал:

— Через пять недель на острове, у морского лесопильного завода, состоит гулянье. При заводе слобода. Слобожанки — щеголихи, а купить нарядов негде. Купцы не ездят: срочных рейсов нет. У тебя, Фатьян, полотняный припас есть, набивные снасти есть. Напечатай своих ситцев, сплавай на гулянье. Я ради старого знакомства похлопочу тебе право поставить балаган у лесопильного завода.

Фатьяну совет полюбился. Заложил земляку свой карбас, купил хороших красок и дорогой олифы. Снял у ба-

¹ Шелоник — юго-западный ветер (с Шелони).

бушки-задворенки на огороде избушку и скорым делом стал печатать ситцы. Работали на совесть, чтобы прочно было и пригоже. От всего усердия стараются. Стучают да стучают тяжелыми узорными досками, пот в башмаки бежит, а мастера, как дети, как художники, веселятся незатейливыми птичками-цветочками, корабликами-домиками. Мастера любили работу, и работа удавалась. Тоже, значит, мастеров любила.

Работали как песню пели. Но лишь только разговор заходил, что надобно плыть в море, начинались споры. Тренька бубнил:

— Эстолько товару наработано. А морем поплывем, кораблик заплеснет валами. Товар замокнет, заплесневеет, запихтевеет... Тогда куда мы, человеки разоренные и много-должные?

Сенька, молодой курносый парень с рыжей бородищею, добавлял свои резоны:

— Мне мама дальше Архангельского города плавать не велела.

Фатьян горячился:

— Один уеду! Околевайте без меня.

— Одного тебя не пустим. Не дадим тебе кукушкой в море куковать.

Приятели согласились неожиданно:

— Вези нас, дядюшка Фатьян, на пароходе. Пароход нам понравился.

Смех с ними и грех, а дело править надобно. Два-три раза сходил Фатьян в приказ с подарками, получил именное право. Приказные говорят:

— За твою добродетель тебе такое скорое доверие. И поручитель у тебя добрый. А некоторый иноземец с весны в эту поездку домогается. Ему от нас ответа нет.

Фатьян из приказа зашел в трактир, сел в уголок, сердито разглядывал гербовый лист с печатью: «Пропали бы

вы кверху ногами с вашим доверием!.. Столько товару нет, сколько пошлин правите».

В трактире привелись три иноземца. Старший, с виду опытный, бывалый, сунул нос в Фатьянову бумагу, пробежал ее бойко глазом и расплылся в улыбку:

— Любопытствуем сделать с вами знакомство, мистер Фатьян. Дозвольте представиться: Гарри Пых, мануфактур-советник, иностранец. Желаю выпить за успех вашего предприятия.

Он выудил из заднего кармана штоф, налил полстаканчика себе и стакан Фатьяну:

— Прошу, мистер Фатьян. Ваше здоровье!

Фатьян недоуменно мигал глазами, отказаться не посмел:

— Покорнейше благодарю, мистер Пыхов. Равным образом и вам желаю... Какой державы будете?

— Верноподданный заморских королей.

— Чем изволите заниматься?

— Дамский туалет, маскарад кустюм. Новейшие фасоны, заграничные модели. Фирма существует двести лет! Одним словом, мистер Фатьян, возьмите нас в компанию, и поедem вместе на завод. Торгови дом Фатьян и К°. Шикарно?

Фатьяну столь стыдно за себя, простого деревенского красильщика. Тяжело вздохнув, он сказал:

— Опасаюсь, мистер, что вы, по вашей склонности, имеете высокое воображение о нашей простоте. Мы являемся простые мужики. Земля у нас нехлебородна. Хлеб надо покупать. На покупку деньги достаем отхожим промыслом. Наша деревенька, скажем, вся — красильщики-набойщики. А соседняя — швецы-портные. Вот мы из каких, а не купцы первогильдейные. Однако, не хвалясь, скажу: мы мужики по званью и художники по знанью. Искони втянулись в ремесло и достигаем мастерства.

Пых закурил и пустил дым Фатьяну в лицо.

— Ваше ремесло, мой друг, получит настоящий блеск, когда вы войдете в компанию с нами... Но что же вы не пьете, друг Фатьян? Ваше здоровье!

У Фатьяна в голове хмелинушка бродит, но немножко-то он соображает:

— А вам какая выгода в моей компании? Почему от себя не промышляете, мистер Пыхов?

— Праздный вопрос, мистер Фатьян. Мы приехали сюда на малый срок. Хлопотать о мастерской и о торговом помещении нам некогда. А вас все знают. У вас на руках готовое разрешение.

— А ежели, мистер Пыхов, ваш товар пойдет, а моего аршина не возьмут?

— Барыши пополам, мистер Фатьян.

— Слово дадено — как пуля стрелена, — сказал Фатьян. — Ты как, мистер Пых, на бумаге договор будешь крепить? А по-нашему: слово да руку дал — крепче узла завязал.

У Пыха глаза сделались веселые. Он промолчал, а Фатьян ораторствовал:

— Мастерскую ты помянул. Тебе на что мастерская?

— Для производства моделей. Недельки на две.

— К бабушке-задворенке в избушку заходи и выделяй свои кадрили-модели. Мастерская — пустяки, а важность вот такая: на чем товар к месту доставим? Море сей год непогодливо.

— Я буду хлопотать о пароходе. Великое удобство!

Фатьян хлопнул Пыха по плечу так, что тот едва со стула не слетел:

— Орудуй, мистер Пых, дело подходящее. Главное, Сенька и Тренька будут рады. Они на пароходе — с полным удовольствием.

Дома Фатьян хвастал перед подмастерьями:

— На пароходе поплывем. Я себя не оконфузил. Пых свое, а я свое. И так его ловко в свою пользу насаживаю.

Сенька с Тренькой не видали мастера во хмелю. Не могут надивиться:

— Они какой державы люди? Званья какого?

— Верноподданные заморских королей... А званьев у них много. Этот Пых, он, может, урожденный граф, его светлость! Я в людях понимаю. Насквозь вижу человека.

Новые компаньоны принялись за дело не мешкая. Забрались в Фатьянову избушку. Не спросясь, схватили ведра, кисти, утюги. А главное, что повели работу с хитростью, с секретом. В избу к ним ходить никому не велели. Запрутся, как стемнеет, и пошашат за час до свету. Удалые Сенька с Тренькой взялись доглядывать за иноземцами. Сенька бородатый впилил глаза в дверную щель. В тот же миг тряпка с краской ляпнула в рыжую бороду. Стала борода зеленая. Умный Тренька высмотрел сквозь ставни с улицы, в оконце. После докладывал Фатьяну:

— Намешано у них в ведрах всякого сословия: желтого, зеленого, красного и синего. И Пыхов, как паук из паутины, ветошь тянет. Помощники эту ветошку щекотурят киселями разных колеров. Я гляжу, меня так в обморок и кидает... И плюют, и дуют, и пеной пырсают. Высушат и мылом наложат. А сидят не со свечой: новомодный свет, карасин горит.

В конце другой недели Тренька доносил:

— Дядюшка, ситцы-то у них пришли в полную красу: сарафаны сделались! Полну избу кофт да юбок наработали.

Фатьян поскреб в затылке:

— Твори, господи, волю твою!

Готовые наряды иноземцы стали гладить. Из-под утюгов валил крошечный дым.

— Портной гадит — уют гладит, — стонал Фатьян, угорая с ребятами до пропасти от этого чада. Посоветоваться, потолковать Фатьяну было не с кем: опытный земляк ушел по должности в море.

Гарри Пых сумел подъехать к капитану парохода. Выяснил, что пароход будет грузиться на морском заводе тесом, и как раз ко времени гулянья.

Фатьяновы полотняные тюки на пароход носили — сходни от тюков гнулись. Пыховы коробки с туалетами, будто пташки, с рук на руки летали. Фатьян обиделся на Пыха, что тот ни в чем не спрашивается, а как в море вышли, Фатьян отмяк, подсел к компаньону:

— Как проворно вы управились с работой! Жаль, не удалось взглянуть, из какого матерьяла вы работаете.

— Из пены! — огрызнулся Пых.

— Хм... пена — дело легкое.

— У нас за морем из пены веревки вяют.

Ночью пароходхватила непогода. Сеньку с Тренькой с ног на голову ставило, качало. Мистер Пых тоже в дело не годился, ползал на карачках. Фатьян бранился:

— Парохода вы домогались — получайте пароход!..

Потом бежал укутывать товар брезентом, молился со слезами:

— Морские заступники, скорые помощники! Не замочите коробки и мои набойки! Убавьте волну!

Путь окончился благополучно. Пароход пришвартовался к пристани.

Иноземцы при постройке балагана снова показали хитрость и затейку. Поставили себе шатер особенно. Рядышком с Фатьяном, а не вместе. Сверху налепили лентувывеску: «Пых и К°. Базар де мод». Модный-де базар. А уж товар у них: взгляни да ахни! Колера пронзительные. Кофта: по огненному полю синие лимоны. Юбка: желтая земля, синие дороги.

Привалил народ. Бабы на заморские разводы сразу обзадорились. Жужжат у Пыхова товару, будто комары. Мистер Пых того и ждал, пуще зазывает:

— Бальный туалет! Американ фурор! Модерн кустюм! Три рубля комплект!

Покупательницы из-за кофт дерутся. Юбки друг у дружки отымают. Только старые старухи опасливо косились на азартные «канплекты»:

— В глазах рябит, как набазарено. А не марко ли? Не линюче ли?

Фатьян в этот день не опочинился. Склавши руки сидел, как невеста женихов дожидаячи.

Напрасно Сенька с Тренькой раскатывали на прилавке трубы набивного полотна. Напрасно заливались звонким голосом:

— Эй, ройся, копайся! Отеческим узором украшайся!

Бабы задирали нос перед Фатьяном, фыркали:

— Вы не можете потрафлять на модный скус. Такой ли ваш фасон, чтобы показывать себя? А у Пыха туалеты, как цветы.

Фатьян негодовал:

— А мои набойки разве не цветы? Узоры не собаки, чтобы в нос бросаться.

— У тебя цвет брусничный да цвет коричный. А у Пыха будто феверки.

Утром другого дня Пых распродал свой товар до нитки. Девки и молодки торопились нарядиться: по обеде открывалось игрище-гулянье. Старухи опять приходили глядеть Фатьяновы набивки. Приводили своих стариков, шептались. Отходили с глубокой думой на челе.

Фатьян разговаривал, гордо поворачась к покупателям спиной:

— На здешних клоунов и на попугаев у нас товару нет. Не зазорны наши ситцы для такого племени.

Тренька по-аглицки ругался с Пыховыми препозитами:
— Нахвально поступаете. Совесть у вас широка: садись да катись! Пленти мони вери гут до добра не доведут.

Фатьян остановил его:

— Брось, нехорошо. Пых мне-ка слово дал, что барышом поделится.

— А ты спросил бы, дядюшка.

— Совестно.

Гулянье началось на лугу, на берегу, далеко от всякого жилья, чтобы простору было больше. Старухи, старики, женатые мужики, ребята расселись, как в театре, по бревнам, по доскам, по изгородям, по пригоркам. Все знают, что сегодня не в старинных штофниках и сарафанах бабы-девки явятся, а в модных туалетах. Всем известно, что триста «канплектов» продал Пых... Ждать долго, потому что от завода, от слободки, где бабы-девки белятся-румянятся, в туалеты рядятся, до гульбища — версты полторы. День стоял пригожий, но с обеденной поры старики заглядывали в край моря:

— Теменца заводится...

Заежилась древняя бабка:

— Не быть ли дождю, — вся дрожу.

Погодя старики опять проговорили:

— Гром гремит, путь воде готовит...

Мальчишки, которые с высоких штабелей караулили дорогу, закричали наконец:

— Идут! Идут!

Щеголихи шли рядами: двести девок, сотня баб. Шестые замыкали парни с гармониями. Старики запели:

Слетались птицы,
Галки и синицы,
Стадами, стадами.
Сходились девицы,
Сбирались молодки
Рядами, рядами.

Одновременно весь берег будто цветами расцвел. Разноцветно стало на лугу. Цветасто. Девки как букеты разнопестрые. Бабы будто лампы в абажурах. И что тут величання, и смотренья, и манежности! У смотрящих стариков в глазах зазеленило. Старухи ахают:

— Глянь-ко, глянь-ко! Этой бы только в погребу сидеть под рогожей, а она как жар-птица!

— Эту бы давно на табак молоть, а она как фрегат под парусами. Сейчас зачнет палить из пушек.

Тут парни зараз в гармонии жахнули. Двести девок, сотня баб песню завели: высоко занесли да в пляс пошли. Только и слышать, что «ух-ух, ух-ух!» Топанье, хлопанье, плесканье, скаканье...

И в те поры дождинушка ударил, как с горы. Не то что дождь пошел как из ведра, а — бочками, ушатами заливало. Вдруг гроза-то с моря накатилась.

Разом триста баб и девок караул закричали. Не грозы испугались: гроза не диво. С туалетами заморскими беда стряслась: краска смокла. Краска-та плывет, и ветошь-та ползет. Бабы держат ветошь-ту да визжат, как кошки. За какой лоскут хватятся, тот в руках останется. Во мгновение вся краса стерялась. Как не бывало туалетов. Смотреть негодно. Эти щеголихи все лохмотье мокрое с себя сбросали в кучу да, как чертовки из болота, ударились бежать.

Кому горе, кому смех! Мужики, как гуси, загоготали. Парни, старики со смеху порвались:

— Ха-ха-ха-ха-а! Вот она, чудовища-а! Европейские модели побежали-и!

Маткам, бабкам не до смеху. За дочками в погоню стелют да ревут:

— Косматки вы, трепалки вы! На всю вселенну срам наделали! Теперь ни в пир, ни в мир, ни в добры люди.

Переведя дух у себя в слободке, умывшись, опамято-

вавшись, молодницы и девицы решили отсмеять насмешку иноземцу:

— Бабы, девки! Нельзя такого бесчестья простить! Головы не оторвем, дак хоть плюх надаем этому Пыху.

Еще до света учредились они, как на битву: с ухватами, с лопатами. Мужики смеялись:

— Маврух в поход собрался... Пропал теперь заграничный Пых. Он ведь сидит и ждет: «Скоро ли-де бабы меня трепать придут!»

— Пушай он хоть в утробу материю спрятался, и там добудем! — вопияли жёнки.

Есть пословица: «Крой да песни пой; наплачешься, когда шить будешь». Пел Пых и у кройки и у шитья. Пел, товар с рук сбываячи. Заплакал в дождик, когда началась суматоха. Бежать на пароход поопасался: бабам нигде не загорожено, а капитан не любит неприятностей. Вместе со своими препозитами Пых залез под пристань. Всю ночь-ку осеннюю там тряслись, единым словом меж себя не перещелкнули. А комары их едят.

Одна была отрада: знали, что погрузка тесу кончена и пароход утром отваливает. Решили заскочить на пароход после второго, третьего свистка. Тогда уж бабам Пыха не достать. Только бы проскочить удалось.

Фатьян в своем балагане тоже ни жив ни мертв сидит.

— Вот так мистер заграничный! Присчитается и мне на орехи. И я с ним в паю буду... Век худых людей бегал, при старости с мазуриком связался! Рук марать не стану барышом грабительским.

— У тебя откуда барыши-то? — спросил Тренька.

— Да ведь половину барыша мне Пых-то посулил!..

— Ох, дядюшка Фатьян! Нет у тебя ума-то с наперсток. Таких, как ты, лесных тетерь, и учат.

— За мою добродетель?

— За твою дурость, не во гнев будь сказано.

— После дела всяк умен. Уйди с глаз! — рявкнул мастер.

Ночью Фатьян не спал, бродил около палатки. На сердце росла тревога: «Влетит и мне за Пыховы дела...»

Пушего страху нагнал глухой сторож из слободки:

— Здравствуй, гость торговый. Вина штоф отпусти.

— У меня не кабак...

— Табак не надо... А вас бабы убивать придут. Я на гулянье не был, а видел, как они в деревню прибежали. Как есть — банны обдерихи.

Так и сидел Фатьян до свету:

— Убежать бы, да некуда. Укрыться бы, да негде...

На рассвете завел глаза, задремал. И тут же со страхом прынул на ноги. Услышал топот ног и воинственные возгласы:

— В воду посадить еретиков!

Несколько запыхавшихся баб сунулись в Фатьянову палатку:

— Дедко, вчерашний Пых где?

— Голубушки, не знаю. Матушки, ни в чем не виноват.

— Ты смотри, никуда не уезжай. Тех поймает, до тебя есть дело.

Полотняная дверца захлопнулась. Фатьян, белый как бумага, начал расталкивать Сеньку с Тренькой:

— Вставайте! Убивать нас идут! Где у нас чисты рубахи?! Помрем. Деточки, смерточка напрасная приходит.

Поняв, в чем дело, Сенька бородатый заревел:

— О, не по красу приехали, не на великую добычу. Зачем ты нас в море сбил, седая анафема?

Тренька заорал на обоих:

— Мужики вы или нет? Бежать надо!

— А товар как? — опомнился Фатьян.

— Ведь ты помирать срядился.

— Пережить не уповаю. А своего художества непонимающим людям оставить не желаю, — торжественно сказал Фатьян.

Тренька уважительно поглядел на мастера.

— Одобряю эти слова, дядюшка Фатьян. Возьмем с вами по топору, станем у дверей. Пусть-ко сунутся которые... А ты, Сенька, лети на пристань. Нет ли там благо-разумных мужиков?

Сенька побежал, на всякий случай поклонившись Тренке и Фатьяну в ноги.

Время тянулось. Никто убивать не шел. Фатьян поуспокоился; насупив брови, сел.

— Охо-хо!.. Ждать да догонять — нет того хуже...

Со стороны берега донеслись два пароходных свистка и вслед за тем крики, брань... Фатьян опять схватился за топор.

Прошел час. Фатьян простонал:

— Тренька, ради бога, сбегай, поищи бородатого. Матка его будет жалеть. Да не провались там!

Тренька ушел, да и провалился. Фатьян изнемог ждавши. Охал и ругался:

— Дураков пошли, да и сам за ними иди. Порвало бы вас, разорвало бы вас! Живы ли вы, деточки мои? Брошу все, сам пойду.

Не поспел Фатьян шаг шагнуть, его с ног сбили Сенька с Тренькой.

— О, леший бы вас побрал! Где вас, проклятых, задавило?

Докладывать начал красноречивый Тренька:

— Ух, дядюшка Фатьян!.. Женки по штабелям летают, в бревнах Пыха ищут, а он под пристанью хранится. Тут с парохода два свистка. Пыховы, все трое, выскочили да по мосту и лупят, а сами кричат:

«На секурс! На секурс!»

Бабы со штабелей ссыпались — да за ними. По мосту канат причальный. Пых подопнулся, и один подручный с ног долой. Бабы налетели, стали Пыха потчевать. Тут спустился с парохода управляющий заводский. Его провожает капитан. Бабы прискочили к управляющему, кладут жалобу на Пыха. Пых вопит что-то капитану на ихнем языке. А народу много, полна пристань накопилась. Управляющий говорит капитану:

«Вы что скажете, мистер каптейн?»

Капитан, такая личность представительная, с сизым носом, отвечает:

«Я совершенно ни при чем. Но мистер Пых просил дать объяснений на его товар. Это есть обычная материй аплике, накладной бумажный кисей. Весьма боится сырость. Если бы не дождик, туалет гулялся бы на год».

Управляющий к народу:

«Вот что, жёночки и девицы: вы в памяти, в сознание эти юбки-кофты покупали. Небось у своих ситец выбираете, жуετε да лижете: не марко ли, не линюче ли?.. Цену-то какую иноземец брал?»

«Три рубля за канплект».

«Это вы иноземцу за науку заплатили. Вперед пригодится... Угодно ли еще про Пыха обсуждать и сыскивать?»

«Мы его уж обсудили. Погладили мутовкой по головке. Вишь, со страху каждый лоскуток на нем трясется. Черт с ним!»

Тут бабы и капитану словцо ввернули:

«Хотя за морем эта аплике и за обычай, однако не возите к нам таких обычаев. Держите у себя».

— Уплыл Пых-то? — спросил Фатьян.

— Угреб.

— Меня-то не помянули?

— Помянули, дяденька Фатьян! Пароход-от отвалил, старухи заговорили: «Вот что, девки-молодки, сами вы на

себя в кнут узлов навязали: деньги бросили и народ на-смешили. Почто было у русского гостя не брать? Вчера куражились, сегодня хошь не хошь — к нему пойдешь...»

Тренька не окончил слова: в балаган полезли бабы, девки и старухи. Поклонились, заговорили:

— Здравствуйте, гости торговые! Из ваших рук набойки захотели. Вчера к вам собирались, да кони не до-везли.

Фатьян приосанился, прищурил глаз:

— Доброе дело не опоздано. Милости прошу. Наши набойки за сутки не заплесневели, не заиндевели. Только что узором не корыстны, против модного базара не за-дорны...

Бабы застыдились:

— Карасином бы этот базар облить было да спалить!..

— То-то, — наставительно сказал Фатьян. — За морем прок потеряли, только хитрость одна. Русский мастер у ра-боты радоваться хочет. Вот полотно: под песню прядено, под сказку ткано, на мартовском снегу белено. Мы к тка-чихину художеству свое приложили. Краски натуральные: от матушки сырой земли и от коры березовой, осиновой, от дерева сандала, от ягод, от цветущих трав. Земляную краску в пух стираем: хоть графиня рожу пудри! Сенька Рыжа Борода у выбойки, будто бабка-повивалка у родов. Тренька досточку-печатку режет, как батальный живопи-сец. Я в свою набойку сорок лет людей сряжаю. Сколько молодежи обучил, ремесло в руки дал. И от всех, кроме спасибо, другого слова не слышал. Я не хвалюсь. Моя ра-бота пусть меня похвалит. Такое наше поведение вековое-цеховое...

Сколько бабам Фатьяновы речи нравятся, столько вы-бойки узорчатые глянутся.

— И как вчера такой красоты не разглядели? Глаза от-вел заморский пес.

Старухи брали по целой «трубе» столокотной, по целому куску.

Важно говорили:

— Этот мартиал хвалы не требует. Он стирку любит. От стирки в полную красу приходит.

Бабы помоложе прикидывали набойку на себя:

— Мастер, как, по-вашему, это виноградьё нам к лицу?

Пришли мужики. Потребовали матерьял порточный, с продольным «форнаментом». И на рубахи орнамент «попристальней».

Иноземцы торговали полтора дня, Фатьян в полдня продал все до нитки. Остатками, обрезками товара он наделил ребятишек, безденежно, в подарок.

По случаю последнего дня гулянья покупатели не торопились расходиться, сидели вокруг палатки, балаболили, хвастались покупками.

Фатьян, выйдя из пустой палатки, весело крикнул:

— Желаю всем эти обновки сто лет носить, на другую сторону переверотить да опять носить!

Переждав, пока кончится смех, Фатьян продолжал:

— Чувствительно вас благодарю за неоставленье. Иноземцы меня выучили, а вы меня выручили.

И Фатьян поклонился народу в землю. Бабы встали и ответили Фатьяну поясным поклоном:

— Промышлять вам с прибылью, гость торговый! За вашу добродетель, как вы есть превосходный мастер...

Обратно Фатьян правился на шкуне. Парусом бежали шибче парохода.

Фатьяновы внуки-правнуки, такие же, как дед, красильщики-набойщики, работают теперь на фабриках. Дедова оказия не вылиняла, не выцвела в пересказах внучат. Дедовской пословкой и заканчивают: «За морем прок потеряли, только хитрость одна».

И объясняют:

— Тогда прок, когда делаешь дело по совести, на общую пользу. Эту прочность ничья злохитрая корысть не переможет.

СОЛОМОНИДА ЗОЛOTOBOЛОСАЯ

Мы любимся творчеством деревенских художников, их резьбой по дереву, расписной утварью, но мы мало знаем их быт, условия труда, их самобытную философию.

Здесь передаю дословный рассказ пинежской крестьянки Соломонида Ивановны Томиловой, в замужестве Черной.

«Наша река Пинега выпала в Северную Двину. Тут леса дремучие, реки быстрые, обрывистые горы — берега.

Мы прибежали на Пинегу в те времена, когда татары накладывали на Русь свой хомут, значит, годов семьсот назад.

Наши мужья, сыновья уходили на промыслы. Мы, женки, девицы, сидели в своих деревнях, как приколочены. Я от юности до старости не бывала и в уездном городе.

Держали мы коров да овец. Промышляли семгу. Земля у нас нехлебородимая. Когда мужа взяли на первую Отечественную войну, я одна выпалаха сохой поле, посеяла шесть пудов жита-ячменя. Сочти, каков был участок. Земля не оправдывала себя, а от нее не отвяжешься. Посеемся, всходы зазеленеют, а ночью с моря упадет мороз, значит, своего хлеба не будет. Тогда мужики по первому снегу пойдут промышлять белку и куницу, каждый хозяин со своей собакой. Которая собака куницу понимала, та на белку не глядит. Бывало, что муж и брат по пятьсот беличьих шкурок выносили. Куница, белка, семга — товар

дорогой, а скупщики платили дешево. Одевались мы пряжей: пряли лен, пряли овечью шерсть. Пряжу красили сами. Краску варили из осиновой и ольховой коры. Изодня в день сидим за пряжей, за тканьем. Я, бывало, за один день вытку двадцать четыре аршина полотна.

Еще у нас, у девиц, у женок, летом была забота — ягоды собирать. Я, бывало, по два пуда черники вынашивала. В лесу и ночью. Чернику вычесывали из зелени особым гребнем, как бы чашка с зубьями. Однажды беру чернику, ссыпаю в корзину и вышла на поляну, а передо мной медведица стоит с двумя медвежатами. Я прижалась спиной к березе, а медведица начала на меня плевать, потом стала мох драть, всю меня мхом залепила. А у меня с собой были спички, я и зажгла на березе ленточку бересты. А зверь огня боится. Медведица пнула ногой медвежат, они полетели в кусты, как мячики. И она за ними ушла.

Однажды проходили нашими деревнями ученые люди. Говорят: «Какая у вас природа прекрасная!» А мы работаем, не разгибаясь. Бывало, ужинать сяду, ложка в руках не держится.

Так и прошла моя молодость день за днем, год за годом. Одна была отрада: я в пятнадцать лет украдкой выучилась грамоте. Отец отпускал меня к одной уважительной старушке помогать по хозяйству, а она положит передо мной книгу. Книга в кожаном переплете с медными застешками. А я не знаю, как к книге приступить, открываю книгу с конца. А старушка стала называть мне буквы, из букв складывались слова.

И я пристрастилась к книгам. Дома читать было нельзя: девке грамота ни к чему. А меня пошлют хлев чистить, я управлюсь быстро, из-за пазухи книгу выну, сижу около коровушки и читаю.

Исполнилось мне семнадцать лет. Маменька вынула из

сундука свой подвенечный наряд, в этом наряде и бабка моя венчалась. От ворота до подола круглые серебряные пуговицы, на голову стали прилаживать жемчужное кружево, в уши вдели жемчужные серьги. Вижу на себе подвенечный наряд. Спрашиваю: «Кого замуж выдаете? Почему на меня примеряете?»

Отец отвечает: «Выдаем тебя замуж за Степана Черного. Сегодня к нам придут сваты».

Я заплакала. Отец говорит: «Сядь, молчи. Реветь будешь по уставу, когда девицы запоют песню».

А в доме у жениха такие же сборы: надели на него шелковую рубаху румяного цвета, серебряный пояс, жилетку с часами.

Сваты собрались, а Степана нет. Не в лес ли убежал? А он дома за углом сидит с ребятишками, в карты играет. У Степана были кудри мягкие, как шелк. Отец и схватил его за кудри, и ведет по деревне к нашему дому, а Степан идет, слезами обливается, плачет с причетью: «Тятенька, не хочу жениться!»

Народ смеется:

— Невеста твоя дома сидит, молчит, как каменная, а ты на всю деревню причитаешь.

Зашли в избу. Я встала, поклонилась. Спросила:

— Степан Дмитриевич, почему ты меня выбрал?

Его отец говорит:

— Выбирать не его дело и не твое. Мы, родители, сговорились, и мы тебя не за красу берем, не за отцово богатство. Берем тебя за твой ум-разум. Ты в деревне всех девиц умом-разумом перевысила.

Стала я жить у мужа в доме. Я в такой грозе дома выросла, с кем угодно и где угодно уживусь.

Муж меня ни разу в жизни не толкнул, не ударил. Разве в сердцах обзовет меня «рыжая беда». А в деревне прозвище мне было Соломонида Золотоволосая.

Кроме книг, у меня от юности до старости осталась еще одна отрада: каждый день что-нибудь деревянное поделать. Помню, нарубил чурок, вытесал птиц, зверей, людей и приколотил к крылечным столбикам. Отец забранился: «У тебя на уме одни потешки». Тогда я под князевое бревно, которое крышу содержит, вытесал солнце со звездами. Отец это похвалил.

Был у меня брат Трофим. Я с топорком, а он с лоскутками, с нитками, с иглой. Мастер был шить куклы. Сошьет полотняного человечка, набьет льняными оческами и оденет по нашей моде.

Однажды пропадал где-то целую неделю, только обедать домой прибежит. Скрывался в лесной избушке и сшил целый хоровод девиц. Вся деревня приходила любоваться. Он везде лоскутки выпрашивал — шелковые и бархатные.

Трофим не любил сидеть на одном месте. Часто уезжал в Архангельск. Будучи женатым, пропал на целый год. Уж стали поминать за упокой — и получаем письмо из Москвы. Все российские города обошел и объездил.

После Октябрьской революции прибежал домой, жил неделю. День и ночь уговаривал меня:

— Ужели ты, сестра, как пень в лесу, будешь здесь догнивать? Поезжай в Москву. В Москве новая жизнь открылась. Там тебе дело найдется. Слово мое тайное и крайнее. Весной по первому пароходу плыви в Архангельск, оттуда по железной дороге в Москву. Адрес дал точный.

Всю зиму я жила сама не своя. Дочери говорят:

— Ты, маменька, что-то задумала.

Я отвечала:

— Задумала сплавить в Москву на месяц. Вы взрослые, с отцом будете хозяйством управлять.

Пришла весна — большие воды. Пароход к нашим де-

рѣвням подошел. Я сумку-котомку за плечи. Со всей семьей большим обычаем простилась, коровушкам в ноги поклонилась. Никто из семейных мне поперек слова не сказал. Муж до парохода проводил. Крикнул мне вслед:

— Соломонида, не плавай!

Я заплакала.

Больше я с ним никогда не видалась.

В Москве я определилась уборщицей в институт. Сюда приходили дети слушать рассказы и читать книги: один день — старшие, другой — мелкие ребяташки. Я стояла у входа, сортовала детей, чтобы старшие не путались с младшими. Канители было много.

Вечером к заведующей приходили художники казать свои рисунки. Меня пригласят к чайному столу:

— Соломонида Ивановна, расскажите что-нибудь о вашей родине.

Я рассказываю и рисую промышленные снасти, что на зверя, что на птицу, что на рыбу. Они слушают, слова не проронят. Вечера не хватит, ночи прихватим. Художники показывали свои картины. Я тоже пристрастилась к большим листам. У себя в кухне расстелю во весь стол кусок обоев и обдумываю рисунок. Чем я рисовала и красила? Наколю лучинок, свяжу в снопики, положу в печь, чтобы обуглились. На листе проведу дорожки крест-накрест, из одного угла в другой. Обозначится середина. Тут нарисую человеческий лик или звериный. По сторонам жительство людское или звериное. Круг меня художники стоят, переговариваются тихо и умственно.

Подарили мне рисовальную тетрадь и краски в ящичках. Это я убрала в сундук: пригодится внукам.

Краски мои были: вакса черная, вакса — коричный цвет. На веретено навяжу тугие узелки с черникой и другой цветной ягодой, и начнет моя рука летать, как птица,

из края в край. Нельзя уронить капельки: обои — материал рыхлый, ягодный сок жидкий.

Художники стоят, дивятся. Я говорю:

— Что же вы, государи, хвалите безграмотную старуху?

Они отвечают:

— Соломонида Ивановна, редкий из нас умеет распределить по листу рисунок так соразмерно и с такой быстротой и чистотой разнести жидкий ягодный сок.

Ночью я лежу, разбираю их речи, как книгу читаю. Великое дело, когда всем наукам обученные люди художество понимают. Не напрасно я в Москву приехала!

ЛЕБЯЖЬЯ РЕКА

Есть у Студеного моря Лебязья река. На веках только гуси да лебеди прилетали сюда по весне, вили гнезда. Потом пришли люди, наставились хоромами-домами. На одном берегу деревня Лебязья Гора, на другом — деревня Гусиная Гора. Земля здесь нехлебородная. Того ради народ промышляет деревянным и живописным делом. На продажу работают сундуки, ларцы, шкатулки и подписывают красками. Мастерство переходило от отца к детям. Бывали настоящие художники. И все они жили скудно. Все зависело от скупщика. Все глядели в рот хозяину. Скупщики платили не цену, не деньги, злосчастные гроши-копейки. Мастера гонялись за случайным покупателем. Из-за этого была рознь, зависть и вражда. Самолучшие живописцы Иван Губа да Иван Щека усилились однажды, сколотили артель. Артель рассыпалась. Сами учредители, Губа да Щека, до старости меж собой слова гладкого ска-

зять не умели. Проезжающий в царскую ссылку человек выговорил им однажды:

— Не в ту сторону воюете, друзья!

— Против кого же воевать?

— Против тех, кому рознь ваша на руку.

— Золотое твое слово, — отвечали Губа и Щека. —

Мы таких, как ты, согласны уважать. Садись в нашу лодку, берись за кормило.

Но разумного человека угонили дальше, к Мерзлому морю. Оставленные царской властью без призора, самобытные деревенские художники зачастую бросали свое художество.

Но пришла пора, ударил и час: царский амбар развалился от подмою живой воды. Как трава из-под снегов, потянулись к жизни художники-сундучники, живописцы-красильщики. Говорливая Лебяжья пуще всякой сказки расскажет о комсомольцах Гуле Большом и Васе Меньшом, которые помогли деревенским мастерам собраться в складчину-братчину.

Гурий Большаков и Василий Меньшенин были комсомольцы из первых в то время и по той далекой реке. Гуля председательствовал в сельсовете. Деревенские хвастались:

— Настоящий председатель. Худых людей словом одергивает, добрых людей словом поддерживает.

Гуля Большой собрал в артель остаточных мастеров Лебяжьей Горы. Вася Меньшой и столяр Федот Деревянный связали в одну семью мастеров Горы Гусиной.

Артельное дело пошло бы ходко, да не хватало хитромудрых живописцев Губы и Щеки. Освободившись от хозяйской кабалы, оба Ивана ушли на дальние морские берега, на промыслы.

В красные дни на песках у Лебяжьей реки сходились обе артели. Гуля председательствовал, Вася секретарствовал. Люди говорили:

— Всякий художный запас, краски, и масло, и клей мы добудем. Кисти и прочую художную снасть сами доспеем. А как ремесленную порядню вести, чтобы наше поделье в домовых обиходах было прочно и вечно? Это мы порастеряли, в этом мы послабли. Вид дадим, а не красовито. Цвет покажем — полиняет. И вторая статья: как художество строить? Без Губы да без Щеки мы письмо переврем и пошиб-манеру запутаем. Живем соседственно, но в чертеже и в раскраске каждая деревня соблюдает свою добродетель. На Лебяжьей колер обожают самый нежный, «тьмо-лимонный» да «светло-осиновый», голубой да лазоревый. Человечков писали тоненьких. На Гусиной красили пестро. Цвет пушали сильный. Мужиков писали головастеньких, а женочек коротеньких. Нам свое лицо терять ненадобно. У всякой ягоды свой вкус.

Старуха Губина докладывала:

— Письма от мужа были, адрес не пишет, для того что на месте не сидит. И я спрошу тебя, товарищ председатель: ужели по теперешней науке нельзя дознать местоположение хоть бы нашего Губы? Узнать бы да требовать письмом.

Гуля рассмеялся:

— К сожаленью, и наука не может вычислить координаты наших мастеров. Ни ихней долготы, ни широты.

Порешили на том, что будут сыскивать вестей и по тем вестям мастеров добывать. А работу начинать не мешкая.

На Лебяжьей сыскались и нехудые живописцы. Гусиная Гора в живописи поскудела. Зато столяр Федот Деревянный умел резное дело: стамеской орудовал по дереву краше, нежели иной кистью по бумаге. Федот взялся приобучить молодежь столярству и резьбе.

И полезли ребята к Федоту, как мухи на брагу. Навыкали пилить и тесать, делали скамью и столец чисто и чинно. Которые ребята были схватчивы и ученье принимали бойко, тех Федот садил за тонкую работу

— Вот, Михайлушко, — толковал Федот талантливому пареньку, — вот тебе художественные снасти, пила да топорок, долото да стамеска. Постройшь тут ларец. Приладишь тут кровельку. Получится для мухи для горюхи домок-теремок. К ней постоящики приедут. Пойдет житье-бытье.

Муха-горюха,
Блоха-посакауха,
Комар-пискун,
Таракан-шаркун.

Присмотрясь к Федотовым рукам, ребята начинали делать сами. Всякую поделку, какова она будет в дереве, сначала чертили на чертеж, на бумагу. Федотовым ученикам подражали малыши-недоросточки. Мать иному репину даст, он из репы человечью образину или птичку вырежет.

Многие из старших пристрастились к рисованию, дивились сами на себя — почему это человеку художничать охота? Федот размышлял:

— Такой уж иной человек рождается: чертить, да красить, да что-нибудь мастерить вроде как пить-есть ему надобно. Сундук, скажем, и без прикрасы в обиход пойдет. А художнику охота, чтобы этим сундуком любовались. Ну, и в карман лишняя копейка. Я вот резьбой да узором сколько покупателя приманиваю, столько себя веселю.

Федот жил и ребят обучал в доме Ивана Щеки. На деревне все дома были великие, потому что сторона лесная, но у Щеки было особенно светло: окна рублены широко. Иван Щека, сряжаясь в море, сказал Федоту:

— У тебя глазишки маленькие, и оконца в твоей избе коротенькие. Там тебе работать темно. Заходи в мой дом, столарствуй, топи печи, карауль...

Когда к Федоту стали собираться артельные, он

немножко-то обеспокоился: «Без спроса тут хозяйничаю». А и хозяин будто в канский мох¹ провалился.

На Лебяжьей Горе ждали Ивана Губу. Гуля Большой заходил спрашивать вестей к старухе Губиной:

— Как думаете, не вместе Иван Егорович с Иваном Щекой промышляют?

— Могут ли вместе, Гулюшка, эких два воеводы! Весь век в два веника метут. Все чего-то делят. Однако по секрету вот что тебе расскажу: мой-то муженек Ивана Щекина работу в сундуке хранит. Две коробки писаных в полотноще увернуты, в бумагу увязаны. В праздник вынет, полюбуется, вздохнет и скажет: «По живописной добродетели ни с кем Ваньку Щекина не сравню...» Опять и такой случай был: скупщик на пристани парохода ждет, сидит на ларце — Ивана Губина работа. Щека это усмотрел, к купцу подскочил и плюху дал: «Недостойн ты в руках носить Губино художество, не то что сидеть на нем...»

Колотятся теперь о морскую льдину моржи седатые, не ведают, какие дома дела открываются. Ужо по зиме, на оленях, не будут ли.

На оленях стариков не дождались. Иван Губа приехал по весне, Иван Щека — летом.

С вешней водой Лебяжья река откладывает кисти да краски. Брались за багры, за весла, за якоря, за паруса, за рыболовные снасти. Но из области было получено приглашение участвовать в осенней выставке, и люди урывали день-другой для художества.

Гуля Большой по делам выставк¹ гонял то в область, то в район. Никто не встретил Ивана Егоровича Губу на пристани, а Гуля не сразу явился с визитом.

¹ Канская земля — полуостров Канин, в прежнее время место безлюдное. «В канский мох провалиться» — затеряться, пропасть.

Губа все это принял как невнимание, как пренебрежение и как оскорбление. Пуше всего затужил о том, что артельное дело зачалось без него.

— Я век об этом деле радел, этого времени ждал да хотел. А они мимо меня и мимо Ваньки Щекина артель составили. Нарочно скорым делом стряпали, чтобы меня не пригласить. Хотя и приглашают, да после всех.

Жена уговаривала:

— Не горазды твои речи, Егорович. Артельная телега широка, садись да катись.

— Вот уж, Ананья да Маланья, Фома да кума да и место заняли. Я не из тех, чтобы сверх канплекта проситься.

— Что тебе проситься? Гуля Большой по зиме сто раз заходил: «Ждем, говорит, Ивана Егоровича, как майского дня».

— Ежели я майский день, дак меня встретить да почитать должно.

— Музыки да барабану не нашли, а то бы встретили.

— Тебе, дура, смех, а мне смерть... Они и Ваньку Щекина нароком держат без вестей.

— Кто это они, не наш ли Гуля, не Вася ли Меньшин? — негодовала старуха.

— И Гульку не за что хвалить. Обо всей реке печалится, а мне отставку дал. Пушдай мое письмишко самое немудрое, но Щека — первостатейный мастер. Только норов у него тяжелый. Но я за свою добродетель не пойду в ноги кланяться. А пропитаемся мы своей промышленной рыбешкой.

Артельные тоже не знали, как подступиться к мастеру.

— Смех и грех со стариком. Вишь, для его упрямки и для гордости встречу было надобно срядить. На тарелку посадить да по деревне пронести... Теперь уж все пропало. Он теперь и всенародного моления не услышит. А бывало,

что он, что Щека — за чужую обиду первые лезли в драку с мироедами.

Молодежь дивилась:

— Как же хозяева-то дерзость такую прощали?

— Потому что у Ивана Щеки да у Ивана Губы руки золотые. Хозяин да скупщик прибыль этими руками загребали.

Пуше всех Губа обиделся на Гулю Большакова:

— В городе красуется, павлины к выставке городит, а меня не залюбил. Ему Губа не надобен, и я их всех ничем зову и ни во что кладу.

Гуля Большой прямо с парохода забежал к Губе. Встретила хозяйка со словами:

— Иван Егорович в слабом состоянии здоровья. Принять не может. Извиняется.

Вышла Гулю проводить и зашептала:

— Не оскорбляйся, Гулюшка. Старик сам не рад, да своего упрямого обычая переломить не может. Намедни сам меня послал в артель: «Узнай обиняком, что такое нова тематика. Из артели парни шли и про какую-то «нову тематику» песню квакали».

Гуля это намотал на ус. Укараулил Губу на улице, учтиво здороваются и подает коробочку:

— Иван Егорович, это первый мой живописный опыт. Я пытался применить новую тематику. Позвольте узнать ваше мнение.

Старик впился глазами в рисунок: звезда, краснофлотец, корабли с гербами.

— Ты это сделал?

— Я, — отвечал Гуля.

— Коробка-то лучше тебя!

Гуля рассказал артельным. Те смеялись:

— Иван Егорович уж век такой. Скупщика, бывало, штукатурит так, что — ах! Народ гогочет, Губа и на народ

с веслом, с какой ни есть со снастью налетит... Ивана Губу да Ивана Щеку на весы посадить — ни который не перетянет.

Губа после встречи с Гулей Большаковым принялся за дело. Трудился днем и ночью, благо, летние ночи на Севере светлы, как день. Выточил большие деревянные блюда, какие шли для свадеб, и покрыл левкасом, мелом на рыбьем клею. Как просохло, вылощил звериным зубом.

Стал левкас, как яичная скорлупа, бел и гладок. По левкасу чертил тонким угольком и обводил рисунок чернильцем. В перо от журавлиных крыльев вдевал щепотку волоса от беличьих хвостов, — готовил кисти. Потом стирал краски с яичным желтком. Краску соберет в деревянную ложку. Много ложек под левой рукой на лавке лежит. По надобью то ту, то другую ложку возьмет, из нее кистью краску берет и пишет по блюду. Рядки серебряного кружева на бирюзе изображали море. По морю золоченые кораблики. Сверху как бы розовый веничек из цветов — утренние зори. Готовое письмо, как просохло, выкрыл олифой, льняным вареным маслом. Мастер хвалился:

— Гляди, жена, олифа-то моя сколь успешна к делу. Голубец и охра здешни немудры. Багрянец из-под нашей же горы. А через олифу сколь они румяны и светлы!

Жена, любуясь, говорила:

— Гуля хоть по мелочам, а художный-то припас из города привозит. Перед распутой синего кобеля привез и нутро маринино.

Мастер усмехнулся:

— Кобальт и ультрамарин... Краски хорошие, а стратит без толку. Которую краску мизинной кисточкой задевать должно, они наплавом будут пущать, ворота красить. Недавно слышал, как они об окраске полов лжесвидетельствуют: олифу с керосином, дескать, превосходно... Я в обморок упал.

Старуха переводила разговор на приятное:

— Уж и красовито у тебя, Егорович. Как сады цветут на блюде.

— То-то! — соглашался Губа. — А разумеешь ли ты силу и смысл письма?

— Очень даже явственно. Здесь красное войско гонит из нашего моря иноземных хватов. Здесь морской парад писан: пушки с наших кораблей палят, знамена трепещутся, чайки летят. А девка с трумпеткой почто на небо залезла?

— Это Слава с трубой, — улыбался старик. — Изображено «Пришествие Красного флота на Север...» Надокучили мне птички да цветочки. То желаю рассказать, что мой ум веселит, чему сердце радуется.

Губа решил похвастаться перед артельными, особенно перед Гулей. Старуха побежала к Большаковым. Оказалось, Гуля снова вызван в город. Снова потемнел Иван Егорович:

— Медали поехал лудить для своей канпании. Конечно, все они Птицианы и Ребрамты. Их посадят в Эрмитаж на божницу при освещении электричества. А позабытый художник Ванька Губин пущай поет на мокрой мостовой: «Подайте мальчику на хлеб, он Велизария питает».

— Уж и мастер ты, Егорович, слезы выжимать, — всхлипывает старуха. — Вылизарий-то кто?

— Оскорбленная невинность, — хмуро отвечал Губа.

Вскоре ему надоело жалобить самого себя:

— Председателя нет, щегольну перед артельными.

Разбирало любопытство — что-то наготовили для выставки.

Как-то утром усмотрел, что на улице народу нет, увязал свои блюда, отправился.

— Куда, Иван? — удивилась жена. — Артель-то вся небось на пристани. Пароход пришел.

— Мели, Емеля... Будут они бегать, пароходики встречать, когда выставка на носу... А ты, старуха, не звони. Я тихомолком.

Чтобы люди не подумали чего, Иван прошел по деревне не спеша, помахивая тросточкой, и, словно невзначай, юркнул в артельные ворота. Толкнул двери мастерской. Заперто. Но внутри кто-то вовсю гремел молотком. Иван приправил стучать и кулаком и палкой.

— Ишь, какое министерство! Запершись, работают. «Без доклада не входить». Нет уж, я не отступлюсь. Хоть незваный посетитель, а принимать извольте!

Из соседнего дома выглянула бабка:

— Напрасно колотитесь. Народ-то на пароход убежал, дрова грузить... Ой, да это Иван Егорович? Не узнала тебя. Какой товар за пазухой жмешь, антиресность каку-нибудь сработал?

Из дома напротив вылезла другая бабка:

— Здравствуешь, Иван Егорович! Колотись шибче. Один глухой Петруха в мастерской-то, сковородки делает. Дай я пособию, колом в простенок приударю...

Себя не помня, прилетел Иван Егорович домой. Шиб блюда под лавку:

— Наделал смеху: «Иван Губа в артель ломился, кланялся, просился». Подай мне ружье, старуха. На озеро уйду. С гагарами, с утятами поговорю. Успокою свое сердце. Раньше воскресенья не вернусь.

Лесная тишина не успокоила Ивана. В воскресенье брел домой безрадостно.

— Ничего, товарищи артельные... Я вам улью щей на ложку. Сам до области дойду. Перед художественными начальниками свою работу положу. Пущай решат, достойно ли Ивашку Губина от дел отбрасывать...

Возле сельсовета толпился народ. Послышались голоса:

— Губа идет! Егорович идет!..

Кто-то крикнул:

— Эй, Иван Егорович! За тобой два раза бегали. Где ты провалился-то? На собрание опоздаешь!

— Какое такое собрание?

— Гуля Большаков из города доклад привез насчет артели. И наши и гусиновские тут.

«Ладно,— подумал Губа.— Осчастливорю вас своим присутствием. Напою куплетов. Отругаю и за старое, и за новое, и вперед на три года...»

В обширном зале народу было — хоть по головам ступай. Кончились общие вопросы. Со своим сообщением вышел Гуля Большаков. Рассказывал о строительстве выставки, открытие которой приурочено к Октябрьским праздникам; о том, какое видное место предоставлено Лебязьей реке. Иван Губа, считая, что для него все потеряно, желая досадить докладчику, начал громко разговаривать с соседями. Тогда и высокий голос Гули Большакова зазвонел, как колокольчик:

— Я слышу, что среди нас присутствует наш уважаемый мастер Иван Егорович Губин. Иван Егорович, я привез вам личное приглашение участвовать на выставке.

Иван буркнул:

— Некому меня там знать.

Гуля продолжал:

— Простите, что без вашего разрешения я показал выставочному комитету несколько ваших работ. Из тех, что хранились в артели. Ваши изделия, Иван Егорович, чрезвычайно понравились. Комитет с удовольствием предоставит вам, Иван Егорович, особую витрину или, если вы пожелаете оказать честь артели, то в качестве ее члена, среди ее экспонатов. Вы, конечно, будете нашим украшением, Иван Егорович.

Гуля спрыгнул с кафедры, подошел к скамье, где сидел Иван Губа, и протянул ему конверт:

— Вот вам личное письмо от комитета, Иван Егорович.

Тишина стояла в зале. Сотни глаз глядели на Ивана. Иван вдруг побагровел, сморщился, и... слезы обильным потоком хлынули из его глаз. Из-за слез не видя Гулю Большакова, старик нашарил его руками и обнял:

— Заботник ты мой, печальник ты мой, доброхот ты мой, Гулюшка! Не я украшение, это вы, молодые, великодушные, всемирное наше украшение!

Повернул в сторону артельных мокрое от слез лицо.

— Артель, пиши меня в члены или хотя в ученики! Челом бью!

Не гуси-лебеди крыльями захлопали — артельные в ладоши загремели, закричали:

— Инструктором будешь у нас, Иван Егорович, — решено и подписано!

На Лебяжьей Горе дела идут благополучно. Про Гусиную Гору можно сказать, что если строил здесь артельное дело столяр Федот Деревянный, то увенчал Федотово строенье кровлей комсомолец Вася Меньшенин.

На Гусиной и прежде мало было живописцев. Больше столяры и резчики. В последнее время один Иван Щека умел разрисовать-расписать шкатулку-сундучок в здешнем, особливом вкусе. И краска в Щекиной работе не темнела, не линяла, не смывалась.

— Тридцать лет столешницу мочалками сдираю, — скажет деревенская хозяйка, — а цветочки как сегодня расцвели. Щекина Ивана рукоделье!

Еще зимой Щека оповестил Федота:

— В навигацию, в корабельный приход буду дома!

Артельные обрадовались. Наготовили ларцов да ящичков: края-каемочки резные, а стенки-кровельки оставили для живописи:

— Иван Акимович приедет, нацветит и наузорит. Не поддадимся Лебяжьей Горе.

Вася Меньшой добывал рисунки, картинки о новой жизни, советской. Собирал и приговаривал:

— Пригодится нашему художнику.

Федот задумчиво покачивал головой:

— Вот только мы пригодимся ли? К своему художеству Иван Акимович относится с пристрастием. Каким глазом взглянет?.. Может, не понравится, что в его избе распоряжаемся. Мне первому достанется.

Иван Щека приехал к лету. Тут же, у морской пристани, узнал подробности об артели, о том, что для артельных в городе «куют медали». Недаром говорили, что Иван Егоровича с Иваном Акимовичем посадить на одни весы — ни который не перевесит.

Щека рассердился, разгорячился на себя и на людей, а на Федота пуще всех. По Лебяжьей реке ходил нарочный пароходик. Щека не поехал домой. Засел в шатре знакомого рыбака.

О приезде мастера на Гусиной узнали в тот же день. Ждали трое суток, обеспокоились: «Не захворал ли? Не лежит ли где под карбасом?» Федот Деревянный, как на грех, поранил ногу. На разведку отправился Вася Меньшой.

Щека сидел в шатре, вязал рыбачью сеть. Не поглядел на Васю, а только покосился:

— Здрасте, молодой человек. Меньше вас некого было послать? Федотка околел?

— Федот посек ногу топором.

— Умысел и хитрость... Значит, вас послали бесприютного изгнанника глядеть?.. Возвестите населению, что Ивашка Щекин, не имея где главы приклонить, кочует по морскому берегу, подобно диким племенам.

Вася старался умягчить старика:

— Как мы вас ждали, Иван Акимович. Делов вам наприпасали — на барже не утянуть.

Щека уставился на Васю ярым оком:

— Не спросясь, меня в работники купили! Вы будете в моей избушке государить, а я у вас в холопах? Вы и с Губиным нахально поступаете. Он дурачится по старости. А в нашем мастерстве Ивашко Губин — личность неизбежная.

— Я вам логику желаю доказать, Иван Акимович.

— А я вам и без логики спою: надменная аспида Федотко пушай опростает мое домишко. Сроку даю неделю. Через неделю покорнейше прошу уведомить меня.

Унылой показалась Васе обратная дорога.

«Как низко ставит сам себя Иван Акимович. Капризит хуже малого ребенка. В деревне будут пересуживать: «Знать, мошну толсту набил, то и куражится». Большой Федот опечалится. Лучше помолчу. Авось наш долгожданный мастер образумится».

На Гусиной Вася заявил, что Иван Акимович прихворнул. Через недельку просил навестить. Артельные успокоились. У Федота отлегло от сердца.

Комары, безлюдье, досада вконец одолели Щеку за эту неделю.

Вася приехал, начал добрым порядком:

— Напрасно вы на нас обиделись, Иван Акимович. Для чего не едете домой?

— В чулан меня положите или на чердак закинете? — горячился Щека. — Власти из города наедут: «Где обитель оскорбленного Ивана Щекина?» — «Под крыльцом, — отзовусь я, — вместо Шарика и Жучки лаю».

Вася не утерпел, рассмеялся.

— Ты смеяться? — загремел старик. — Ты посольство править послан или зубы скалить?

Рассердился и Вася:

— Что вы на меня разъехались, Иван Акимович? Если я посол, вам должно меня выслушать.

— Я хозяина-миroeда не слушался, а теперь не то время. И вот вам мой последний сказ: еще недельку потерплю. А в воскресенье приеду с этим вот березовым колом. Добром Федотко со двора не выплывет — палкой выгоню!

Ехал Вася домой, думал грустную думу: «Сам себя наш мастер хочет обесславить. А я ничего не скажу в артели. Будь что будет! Неделя — долгий срок: вдруг да обойдется стариновское сердце».

В деревне Вася сказал:

— Иван Акимович выздоровел. Посылает всем по низкому поклону. В воскресенье сам придет.

Артельные развеселились. У Федота стала бойко заживать нога.

Дом и так содержался в порядке, но к приезду художника прибрались, будто к празднику. Ребята-ученики готовили встречу.

В воскресенье с раннего утра Вася караулил пароход, стоя на высоком берегу. С беспокойством ждал: скоро ли покажется дымок? Раньше Васи пароход увидели ребята. С криком: «Едет, едет дядюшка Иван!» — побежали к пристани. За ними попевал Федот.

Иван Щека стоял у самого борта. В руках держал березовую палку. Одинокaя фигура старика казалась мрачной.

«Наделал я делов!» — подумал Вася, медленно спускаясь вниз к реке.

Сидя у моря, Щека ждал, что к нему придут на неделе с докладом, с приглашением. Подошло воскресенье, никто не явился. Увязав пожитки, ухватив березовый батог, старик сел на пароход. Всю дорогу сам себя горячил, стучал палкой в палубу: «Ладно, приятели... Я вам не нужен, так и вы мне не нужны. Вот я вас всех ужо...»

Показалась Гусиная Гора и пристань. Щека дивится: «Кого же это народ встречает?.. Федот в красной шел-

ковой рубахе... Девушка с букетом, парнишка с разрисованным листом. Ребята в два ряда... Не начальник ли какой в каюте едет?... Федот шапкой машет. Все кому-то радуются. На меня глядят!»

Пароход бросил причалы. Артельные ребята не стерпели, нарушили ряды. Бегут к Ивану да кричат:

— Дядюшка Иван Акимович, с приездом!

— Дядюшка Иван Акимович, с приездом!

Палка выпала из рук Ивана, гремя, покатилась по палубе... Девочка сует Ивану букет. Мальчик звонким голосом читает по листу:

— «Мы, ученики гусиновской артели, приветствуем нашего художника...»

Иван сгреб в охапку зараз пятерых ребятшек и спрятал лицо в их головенках, чтобы не видно было его слез. Потом крепко обнялись с Федотом.

Было над чем радоваться Васе. Присмотрев его, Щек сказал:

— Васенька, пройдем-ка в каюту. Сундучок пособишь снять.

В пустой каюте Иван спросил:

— Вася, ты им ничего не говорил? Они ничего не знают?

— Ничего не говорил, Иван Акимович. Они ничего не знают.

Старик поклонился Васе в ноги.

— Не я учитель, Васенька, а ты мой учитель!

Щека ходил по своему дому:

— Занавесочки, цветы, чистота... Пол-то платком носовым продери, платка не замараешь. А эта горница почто на замке?

— Тут твое именье, — объяснил Федот. — Сундук, постель, посуда. Как уехал, так все и лежит нетронуто.

Иван зашумел:

— Эх вы, распорядители! Теснятся тут, а комнату замкнули. Вынести мое барахлишко наверх: я в светелке буду помещаться. Федот останется внизу, а этот весь этаж под мастерскую.

Вася, лукаво прищутив глаз, шепнул Ивану:

— А я, в случае чего, к себе собрался перетаскивать артель-то.

Иван засмеялся:

— У тебя улица грязна, у тебя ворота не крашены, у тебя пол не метен.

До ночи Иван не отпускал народ, а на другой же день артель взялась за краски и за живопись. Работали — «с огня хватали»: выставка была не за горами.

Щека не попал и на собрание, где Гуля Большаков так славно помирил Губу с артелью. Но гусиновцы, которые ходили на Лебяжью Гору, не то что рассказывали, а в лицах представляли и Губу и Гулю. Щека слушал, и у него сияли глаза:

— Теперь Иван Егорович и меня не оттолкнет. Ты, Вася, и ты, Федот, махнем-ка завтра на Лебяжью.

В избе у Губы сидели артельные, любовались новыми блюдами. Вдруг хозяин, уставясь в окно, ахнул:

— Небывалый гость идет! Раскатись, моя поленница без дров!

Он бросился в сени, протянул обе руки Ивану Щеке.

— Ванька, — сказал Губа, — сколько годов мы друг по друге тужили?!

— Ванька, — отвечал Щека, — пускай лучше люди сочтут, сколько годов мы с тобой дружили.

Неспроста хвалились деревенские старухи, что в городе куют медали на сундучных мастеров. В октябре на выставке артели удостоились наград. На торжественном собрании сказала слово и река Лебяжья. Иван Щека говорил:

— Кто нас прежде знал, да кому мы были надобны? Теперь нам от государства повелено быть у живописных дел. Бывало, никто и знать не хотел, что есть такой коробочник-ларечник Ванька Шекин. Теперь мне велено подписывать мои работы. Бывало, даже живопись такого мастера, как Иван Егорович Губин, валялась на базаре с ведрами, с лопатами. Теперь она в музее, под стеклом.

Бывало, мы бродили врозь, теперь нам настоящая дорога под ноги попала. Теперь мы на широкий шаг шагнули... Время покажет, успешно ли будет наше письмо у нового строительства.

Мне, старику, что-то тесно стало у коробочки-шкатулочки сидеть. Желая этот потолок расписывать, на заводском театре кистью размахнуться. Чтобы не только птички да цветочки, а об устройении земли, о войне и тишине рассказать.

Иван Губа говорил:

— Краше теплого лета эти осенние дни. Любо мне, деревенскому мастеру, быть на таком блестящем собрании. И при всех хочу назвать, и от всей Лебяжьей реки спасибо сказать нашим комсомольцам Гурию Большакову и Василию Меньшенину. Ты, Гуля Большой, и ты, Вася... стараясь для пользы деревни, вы погасили многолетнюю вражду.

Любя родное художество, какое вы показали терпение! Как дальновидно сказалось ваше поведение... Нас, старых мастеров, звали вы в учителя. И вот я, именуемый учитель, приехал в большой город. Хожу, смотрю, размышляю. И... почувствовал себя учеником.

Накие мысли-воспоминания сияют нам, как зори негаснущие? Не угасает то, что стало сокровищем от юности.

Художнику свойственно любить культуру своей родины и вникать в эту культуру. Непонятно, почему еще детское сердце устремляется к чему-то единственному, и этой любовью человек живет и дышит всю жизнь.

Примером такого целеустремленного призвания к единственному любимому в искусстве был художник — певец русского Севера Виктор Гаврилович Постников. Удивительна была целость ума и целость жизни этого человека. Удивительно изящество внешнее и внутреннее.

Меня и Витю сблизила любовь к рисованию. Во младенчестве мы с упоением размалевывали гравюры немецкого журнала «Гартен ляубе». Лица красили желтым кадмием, одежду — кармином. Потом начали переводить на сахарную бумагу сытинские лубки, полюбили рисовать «виды». Сыскали образцы, доступные нашей руке. Я без конца изображал пейзаж на фаянсовом блюде: остров — чистая охра, вокруг синий бордюр — река; дерево в виде трилистника, под ним город — домик с киноварной крышечкой.

Затем с увлечением копировали мы виды Соловецких островов, изданные монастырской хромолитографией. Казалось, что картинки эти рисованы цветным карандашом. Подсознательно мы сыскивали образцы, техника которых была нам понятна и посильна.

До лет юности мы шли слепым ходом в поисках чего-то желанного, единого на потребу. На пятнадцатом, шестнадцатом году жизни нам пала под ноги наша дорога. Нам в руки попало несколько серий билибинских работ: северное зодчество, типы севера, иллюстрации былин.

Билибинский стиль очаровал нас. Кстати, в «Журнале для всех» напали мы на статью Билибина «Искусство в северной деревне», прекрасно иллюстрированную. Все в этой статье было для нас откровением. Радость одна не приходит: в городе появились репродукции с картин Васнецова и Нестерова. Первые книги Пришвина «В краю непуганых птиц» и «За волшебным колобком» стали для нас настольными книгами.

Здесь многие художники скажут: «Это он про меня говорит. Я в том же порядке зачинался».

В 1912 году в Архангельске жил знаменитый архитектор, академик П. П. Покрышкин. Мы с Виктором отважились предстать перед ним во время реставрации «Успенья на бору». Черная борода, орлиный взгляд, одежда, залитая известью, — все поразило нас. Мы истово поклонились, и Виктор произнес заученное приветствие.

Вместо ответа, он налетел на нас, как мальчишка, и дал нам по шеем.

«Это я благословляю вас. Художники не живут сладко, а живут терпко. Не будьте «спящие красавицы». Не спите — не дремлите».

Жадно наблюдали мы освобождение древней живописи от почерневшего лака олифы. Чернота отодвигалась как туча, уступая место светлому перезвону красок. Корпусные краски — киноварь, охра, белила, объединялись нежнопрозрачными: голубец, празелень, багрянец. Легендарен был сюжет, сказочно изящен рисунок. И деревья, и горы, и селенье — все на фоне легкой позолоты. Она мерцала как немеркнущая вечерняя заря.

Нам открылась неповторимая красота северорусской культуры. Точно былинку сказывали нам исполинские избы поморов. Гениальные зодчие возводили эти сурово-прекрасные шатровые церкви.

Сколько художественной старины оказалось в наших

домах: расписные столы, сундуки, шкафы, резные прялки, ендовы.

Летняя ночь на севере разнится от полдня только тишиною. Сияющую ночь посвящали мы реставрации живописи. В такой час бежит Витя по тихой улице к моим окнам, кричит: гляди, какие тона хризозефантиновые.

Я поглядел:

— Витя, ты до грунта, до левкаса все стер.

Как праздник вспоминаются мне годы пребывания нашего в Москве в Строгановском училище. Талантливые педагоги-художники, такие как С. С. Голоушев, С. В. Ноаковский, П. П. Пашков искру любви к искусству умели раздувать в пламя.

Как благодатный дождь, принимали мы с Виктором одобрение и поощрение наших северных тем.

Сколько душевного веселья получили мы от наших походов в Абрамцево, Сергиев Посад, в Хотьково, в Богородское. Мы знали, что здесь начиналось возрождение народного искусства.

В деревнях из уст крестьян слышали мы рассказы о Васнецове, Врубеле, Нестерове, Поленовой. Здесь, в царстве деревянной и глиняной игрушки, знали Андрея Рублева, предание о татарщине, о Грозном. Здесь Нестеров сыскивал прекрасные детские и девические лица и увековечивал их на своих полотнах.

Русь Московская стала второй моей родиной. Виктор Постников наезжал сюда редко. Помню последнее его посещение:

— Не спрашивай здоровья, гляди в лицо!

— Витя, ты совсем фарфоровый!

— Нет, я перышко гусиное. Я карандашик костяной. Не сломай меня. Я из трех лучинок складен.

Чем бы его развеселить? Начал я открывать дверцы шкафов, изнутри расписанные в поморском вкусе.

Витя обрадовался:

— Живо наше ремесло! Живы наши праздники! А модели северного зодчества все растерял?

— Все на дым пустил. Вот осталась надворотная башня Николы Морского.

Глубоко запавшие глаза Виктора засияли. Веселясь сердцем, он говорил:

— Помнишь, друг, как на карбасе подошли мы к Никольскому урочищу. Помнишь неизрекомую тишину июньской ночи и это видение древней красоты. На взлобье серебряншистого холма стоял древний город: вековые бревенчатые стены, сказочная, с высоким шатром надворотная башня, башни угловые.

Этот древний город как бы оборонял великолепный ансамбль новгородского зодчества. Будто лебедь, возник из-за стен белокаменный Никола; будто крылья, опустил он к северу и югу торжественные крыльца-всходы. Я и сейчас вижу: нежное золото зари охватило запад и восток. Солнечный венец как золотой кораблик, плыл край моря. И берега, и острова, и воды — все виделось как бы написанным на золотистом перламутре.

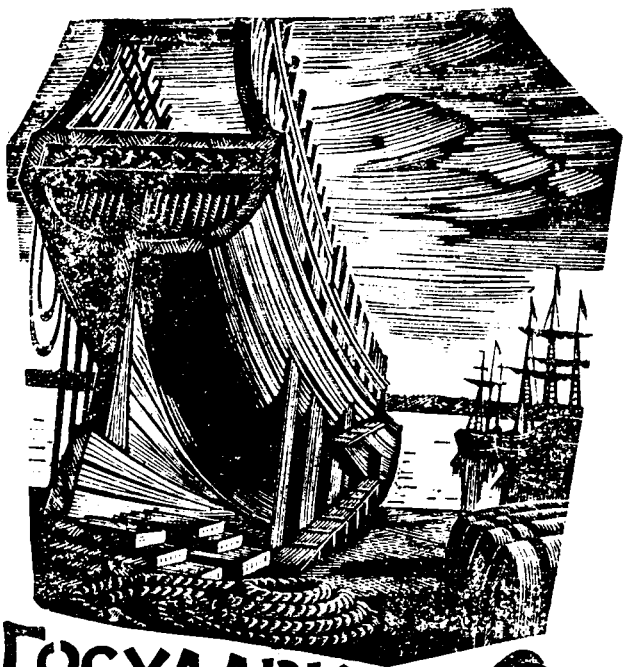
На прощанье он сказал:

— Я эту красоту видел и этим счастлив.

— Виктор, счастливы будут и те, кто не видел, но поверил тебе.

Виктор Гаврилович Постников не дожил до старости. Из Архангельска ушел он на Вычегду. Там и прижал к сердцу художные свои руки.

В Москве, в 1958 году, на выставке областных художников представлены были акварельные пейзажи Постникова. Печать с похвалой отзывалась об этих его работах. Но художник уже не дождался ни хвалы, ни оценки.



ГОСУДАРИ-
КОРМЩИКИ

КОРАБЕЛЬНЫЕ ВОЖИ

В устье Северной Двины много островов и отмелей. Сила вешних вод перемывает стреж-фарватер. Чтобы провести большое судно с моря к городу Архангельску или от города до моря, нужны опытные лоцманы. В старину эти водители судов назывались корабельными жожами¹.

Когда Архангельский посад назвался городом, в горожане были вписаны корабельные жожи Никита Звягин и Гуляй Щеколдин. Звягин вел свой род от новгородцев, Щеколдин — от Москвы. Курс «Двинского знания» оба проходили вместе с юных лет. Всю жизнь делились опытом, дружбой украшали домашнее житье-бытье. Гостились домами: приглашали друг друга к пирогам, к блинам, к пиву.

Но вот пришло время, дошло дело — два старинные приятеля поссорились как раз на пиву.

Вожевая братчина сварила пиво к городовому празднику шестого сентября. Кроме братчиков, в пир явились гости отовсюду. Обычно в таких пирах каждая «река» или «город» знали свое место. «Высокий» стол занимала «Новгородская Двина», «середовый» стол — Москва и Устюг, в «низких» столах сидели «черные» или «чернопахотные» реки.

После званого питья у праздника в монастыре Звягин поспешил веселыми ногами к вожевому пиву. Здесь усмотрел бесчинство. Братчина и гости сидели «без мест». Молодые реки залезли в большой стол. Великая Двина безмятежно пировала в «низком» месте.

— Давай к нам, Никита! — кричал Щеколдин из «высокого» стола. — Пинега, подвинь анбар, Новгородец сядет.

¹ В о ж — вождь.

— Моя степень повыше, — отрезал Звягин.

— Дак полезай на крышу. Садись на князево бревно, — озорно кричал Щеколдин.

Чернопахотные реки бесчинно загрели — засмеялись.

Звягин осерчал:

— Ты сам-то по какому праву в высокий стол залез, московская щеколда?

— Я от царственного города щеколда, а вы — мужичий род, крамольники новгородские!

— Не величайся, таракан московский! — орал Звягин.

— Твой дедушко был карбасник, носник. От Устюга до Колмогор всякую наброду переваживал. По копейке с плещи брал!

— А твой дедко барабанщик был! Люди зверя промышляют, Звягин в бочку барабанит: — «Пособите, кто чем может: по дворам ходил, снастей просил, — не подали».

Поругались корабельные вожи, разобиделись и рассоветились. Три года сердились. Который которого издали увидит, в сторону свернет.

Звягин был мужик пожиточный. Щеколдин поскуднее: ребят полна изба. Звягин первый призадумался и разгоревался: «Из-за чего наша вражда? За что я сердце на Щеколдина держу? Завидую ему? Нет, — кораблей приходит много. Живу в достатке». Задумал Звягин старого приятеля на прежнюю любовь склонить. Он так начал поступать: за ним прибегут из вожевой артели, или лично придет мореходец иноземец, или русский:

— Сведи судно к морю.

У Звягина теперь ответ один:

— Я что-то занемог. Щеколдина зовите. Щеколдин первый между нами, корабельными жожами.

Еще и так скажет:

— Нынче Двина лукавит, в устьях глубина обманная. Корабли у вас садкие. Доверьтесь опыту Щеколдина.

Корабельщики идут к Щеколдину. Он заработку и достатку рад. Одного понять не может, кто ему в артели доброхотствует. «Надобно сходить, порасспросить», — думает.

В урочный день Щеколдин приходит в артель платить вожевой оброк. Казначей и говорит:

— Прибылей-то у тебя, Щеколдин, вдвое против многих. Недаром Звягин знание твое перед всеми превозносит. Мы думали: у вас остуда, но, видно, старая любовь не ржавеет.

У Щеколдина точно пелена с глаз спала: «Конечно, он, старый друг, ко мне людей посылал!»

Щеколдин прибежал к Никите Звягину, пал ему в ноги:

— Прости, Никита, без ума на тебя гневался!

Звягин обнял друга и торжественно сказал:

— Велика Москва державная!

МАРКЕЛ УШАКОВ И ВАСИЛИЙ КЕКИН

Любомудрые годы неутомленной старости своей Маркел провожал в Койде¹.

В это время молодой судостроитель в городе² Василий Кекин добивался на учительный разряд.

Городовые мастера сказали:

— Домогаешься высокой степени. Но похвалит ли Мар-

¹ Койда — деревня, и сейчас существующая в Архангельской области, в Мезенском районе.

² Подразумевается — в Архангельском городе.

кел Иванович на Койде? Спроси его. Мы ему писали о тебе.

Кекин в Койду прибыл. Старой мастер его встретил с усмешкой:

— Пишут о тебе: строишь карбасы, а корма-то роз-на...¹ Еще не знаю, годишься ли в ученики. Возьми поле-но, сделай в образец лодейку.

Кекин сделал образец художно, с вымыслом. Старый мастер сморщился:

— Изукрашение ни к чему. Отдай эту игрушку ребя-тишкам. Сделай проще.

Кекин сделал просто. Старой мастер говорит:

— Поживи да поучись на Койде года три. Хлеба мои, одежда твоя... Тебе любо ли, Василий Кекин?

Кекин говорит;

— Любо, Маркел Иванович! Хотя бы тридцать лет метлой стоять, только бы у Ваших учительных дверей!

Это все Маркел испытывал Василия. Вскоре Маркел послал в город с грамоткой к городовым мастерам на вер-фи. А следом пустил и Кекина.

В городе на верфях Кекина встречают честно; разряд-ные мастера сказали:

— Пишет о тебе Маркел Иванович: умеешь-де ты по-виноваться и учиться. Сумеешь и начальствовать.

ВИДЕНИЕ

Как-то Маркел с Анфимом жили в Архангельске. У корабельной стройки взяли токарный подряд. Маркел и жил на корабле, Анфим — в городе. Редко видя учителя.

¹ Розная — рваная.

Анфим соблазнился легкой наживой — торговлей. Запродал даже токарную снасть. Маркел этого ничего не знает.

Но вот, рассказывают, пробует он маховое колесо у станка. и видит, что вместо спиц в колесе вертится Анфимко Иняхин.

Опамятовавшись от видения, Маркел прибежал к Анфиму:

— Друг, с тобой все ли ладно?

— А что же, Маркел Иванович? — удивился Анфим.

— Ты сегодня в видении передо мною колесом ходил.

— Ужели? — простонал Анфим и заплакал: — Ты меня, отец, правильно обличил. Торговлишка меня соблазнила. Я задумал художество наше бросить.

ДОСТОЯНИЕ ВДОВ

Ушаков отлично умел делать модели кораблей. А приобучился этому в Соловецком монастыре. В монастыре не ужился: нрав имел строптивый и язык — как бритва.

Изба Маркела в Архангельске вся была заставлена маленькими кораблями. Мы видали, как в зимние вечера мастер сидит на низеньком сосновом чурбане и при свете сальницы¹ оснащает игрушечный корабль. Около Маркела всегда множество детей. Он любил рассказывать о своих удивительных путешествиях. В праздники Маркел ходил ругаться со всякими начальниками.

Приехавший с Петром Первым² знатный барин заказал

¹ С а л ь н и ц а — сковорода с налитым в нем салом морского зверя. В носок вставлялась льняная свечка.

² Петр Первый в молодости дважды бывал в Архангельске.

Маркелу модель голландского корабля. Жена этого барина, увидев готовую модель, сказала:

— Мастер, не бери у мужа денег за эту игрушку. Я возьму их в пользу вдов и сирот.

Маркел отвечает:

— Не твое, сударыня, дело о бедняках печалиться.

— Ах ты пьяница! — вспыхнула барыня. — Я, слабая здоровьем, и то беспокою себя ради голодранцев...

— Нет, ты не слабая, — перебил Маркел. — Ты богатырка. Ты, сударыня, носишь на плечах достояние бесчисленных вдов и сирот. И не чувствуешь этого.

Плечи знатной барыни украшены были драгоценностями.

ПОНЯТИЕ ОБ УЧТИВОСТИ

Деревня Лодьма¹ славна была изготовлением изящных корабельных моделей. Здесь подолгу жил Ушаков.

Царский чиновник едет мимо ряда лодемских крестьян, сидящих на бревнах.

— Эй, борода! — кричит чиновник.

— Все с бородами, — усмехнулись крестьяне.

— Кто у вас тут мастер? — сердится чиновник.

— Все мастера, кто у чего, — отвечают крестьяне.

— Я желаю купить здешнюю игрушку — кораблик!

— За худое понятие об учтивости ничего не купишь, — слышится спокойный ответ.

Это сказал Маркел Ушаков, который по виду ничем не отличался от любого мужика-помора.

¹ Лодьма — деревня в устье Северной Двины.

КОНДРАТИЙ ТАРАРА

Слышано от неложного человека, от Старого Константина.

У нас на городской верфи состоял мастер железных дел Кондрат Тарара. Он мог высказывать мечтательно о городах и пирамидах, будто сам бывал. Сообразно нрав имел непоседливый и обычай беспокойный. Смолоду скитался, бросал семью.

Столь мечтательную легкокрылость Маркел ухитрился, наконец, сдержать на одном месте двадцать лет. Удивительнее то, что и память о Маркеле держала Тарару на месте другие двадцать лет.

А хитрость Маркела Ивановича была детская.

Весной не успеет снег сойти и вода сбежать, Кондрат является в приказ:

— Прощайте, Маркел Иванович. Ухожу.

— Куда, Кондраша?

— По летнему времени на Мурман или на Мезень. Может, к промыслам каким пристану.

Маркел заговорит убедительно:

— Кондраша, навигация открылась. В якорях, в цепях никто не понимает. Именно для летнего времени невозможно нам остаться без тебя.

— Ладно, Маркел Иванович. До осени останусь.

Значит, трудится на кузнице до снегов. Работает отменно. Только снег нападёт, Кондратий в полном путешественном наряде, опять предстанет пред Маркелом:

— Всех благ вам, Маркел Иванович. Ухожу бесповоротно.

— Куда ж, Кондратушко?

— Думаю, на Вологду. А там на Устюг.

Маркел руки к нему протянет:

— Кондрат! В эту зиму велено уширить кузницу, поставить новых три горна. Не можем оторваться от тебя, как дитя от матери.

— Это верно, — скажет Тарара. — Зиму проведу при вас.

Весной Кондратьева жена бежит к Маркелу:

— Пропали мы, Маркел Иванович! Тарара в поход собрался. Уговори, отец родной!

Приходит Тарара:

— Ухожу. Не уговаривайте.

Маркел вздохнет:

— Где тебя уговорить... Легче железо уварить. Прощай, Кондрат... Конечно, этим летом повелено ковать медных орлов на украшение государевой пристани... Ну, мы доверим это дело Терентию Никитичу.

— Вы доверите, а я не доверю! Ваш Терентий Никитич еще в кузнице не бывал и клещей не видал...

Вот так-то год за годом удерживал Маркел милого человека.

В которые годы Маркела не было в Архангельске, Тарара все же сидел на месте:

— Воротится Маркел Иванович из Койды, тогда спрошу и уйду.

Но Маркел Иванович из Койды отошел к Новоземельским берегам, и там, мало поболел, остался на вечный покой.

А Кондрат Тарара остался в Архангельске:

— Мне теперь не у кого отпроситься, некому сказать.

ХУДОЖЕСТВО

Маркел Ушаков насколько был именитый мореходец, настолько опытный судостроитель.

В молодые свои годы он обходил морские берега, занимаясь выстройкой судов. Знал столярное и кузнечное дело; превосходно умел чертить и переписывать книги. Все свои знания Маркел объединял словом «художество».

Спутник и ученик Маркела, Анфим Иняхин, спросил Маркела:

— Когда же мы сядем на месте дома заниматься художеством?

Маркел отвечал:

— Кто же теперь отнимает у нас наше художество? Художество места не ищет.

Маркел говаривал:

— Пчела куда ни полетит, делает мед. Так и художный мастер: куда ни придет, где ни живет, зиждет доброту (создает красоту).

У работы Маркел любил петь песню. Скажет, бывало:

— Сапожник ли, портной ли, столяр ли — поют за работой. Нам пример путник с ношей. Песней он облегчает труд путешествия.

ВЕРА В ЛОЖКЕ

Ушаков с товарищи пришли в Сумский посад. Был праздник, и сумляне пригласили их к столу.

Маркелов подкормщик говорит:

— Какой страх — со всеми есть и пить, а не знаем, кто какой веры. У меня и ложки с собой нет.

Маркел говорит:

— Какой страх людей обижать. В ложку ты свою веру собрал.

РЯДНИКОВЫ РУКАВИЦЫ

Между матерой землей и Соловецкими островами зимою ходят ледяные тороса. Ходят непрерывно, неустанно. Соловецкий трудник¹ Ушаков водил суда меж лед бойко и гораздо.

Братия спросили:

— Чем тебя, Маркел, почествовать за экой труд?

Маркел ответил:

— Повелите выдать мне Рядниковы рукавицы.

Все удивились: что за рукавицы?

Кожаный старец объяснил:

— Хаживал к игумену Филиппу некоторый Рядник мореходец. Сказывал игумену морское знание. И однажды забыл рукавицы. Филипп велел прибрать их: «Еще-де славный мореходец придет и спросит...» Сто годов лежат в казне. Не идет, не спрашивает Рядник рукавиц.

— Сегодня пришел и требовал! — раздался голос старого Молчана. — Хвалю тебя, Маркел, — продолжал Молчан. — Не золото, не серебро — Рядниковы рукавицы ты спросил, в которых Рядник за лодейное кормило брался на

¹ Трудники или годовики — подростки, которых родители «по обещанию» отдавали на срок на работу в Соловецкий монастырь, одновременно они обучались судостроительному мастерству.

веках, в которых службу морю правил. Ты, Маркел, отцов наших морских почтил. Молод ты, а ум у тебя столетен.

Маркел и стал хранить эти рукавицы возле книг. Надевал в особо важных случаях.

Из-за Рядниковых рукавиц попали в плен swei-находальники.

Но расскажем дело по порядку.

Однажды в соловецкой трапезной иноки «московской породы» сели выше «новгородцев». «Новгородская порода» возмутилась. Маркел втиснулся меж теми и теми и так двинул плечом в сторону московских, что сидящие с другого края лавки «московцы» посыпались на пол.

Баталия случилась в праздник, при большом стечении богомольцев. Маркела в наказание за бесчинство и послали в Кандалакшу к сельдяному караулу.

В безлюдное время в тумане с моря слышался стук весел и нерусская речь. Маркел говорит подручному:

— Каяне¹ идут. За туманом сюда приворотят. Бежи в деревню! Нет ли мужиков...

...К Маркелу в избу входят трое каянских грабежников. Двое захватили его за руки, третий стал снашивать в лодку хлеба, рыбу и одежду. Маркел стоит, его держат эти двое. Наконец третий, оглядев стены, снял с гвоздя заветные Рядниковы рукавицы.

Маркел говорит:

— Это нельзя! Повесь на место!

Тот и ухом не ведет.

Тогда Маркел тряхнул руками, и оба каянца полетели в разные углы. Вооружась скамьей, Маркел тремя взмахами «учинил без памяти» наскაკивающих на него с ножами

¹ К а я н е — от названия городка Каяна на территории нынешней северной Финляндии, с которого шведы (swei) не раз делали набеги (находы) на Беломорье.

грабежников. Сам выскочил в сени, прижал двери колом. То ломятся в двери, а он стоит в сенях и слушает: не трубит ли рог в деревне?

И деревенские, как пали в карбас, сразу загремели в рог.

А в лодке еще трое каянцев. Вопли запертых слышат и дальний рог слышат. Один выскочил из лодки и бежит к сваям на помощь. С ним Маркел затеял драку, чтобы не подпустить к избе. Но рог слышнее да слышнее. Показался русский карбас с народом. В свалке один грабежник утонул. Пятеро попали в плен.

За такую выслугу Маркелу с честью воротили чин судостроителя.

ТРЕУХ

Пристрастие Петра Первого к кораблям и к морю заставило Маркела Ушакова полюбить преобразователя России. По рекомендации Афанасия Холмогорского Маркел был вызван к корабельному строению на Неве в Ладоге.

Тут душа старого помора начала рваться на куски. Сочувствуя Петру, Маркел негодовал на преклонение перед Западом без разбору:

— Бывало, в северных морях иноземец русским в рот глядел, ждал слова. А теперь: извольте стулом становиться под голландца или шведа!

На заседании «приказанных господ и членов» произошел скандал. Ушаков вылез вперед, вывернул свой лисий треух наизнанку, поставил тульей себе на голову и сидит так, помахивая лисьими хвостами. Все вытаращили глаза.

Председатель прервал речь. В публике раздался шум и хохот.

Тогда Маркел Иванович стукнул кулаком о стол «и рек, аки гром грянул»:

— Иноземец всех вас кверху дном поставил. Всех на обезьянин лик поворотил. И это вам не дико. А я только то и сделал, что шапку свою навыворот надел, и все смутились, все оскорблены.

«Притворя себе болезнь», Маркел вернулся в Архангельск.

УШАКОВ И ЯКОВ КОЙДЕНСКИЙ

Маркел относился к делу своему и к людям страстно и пристрастно. Но людей тянуло к Маркелу, как железо на магнит. Где бы ни кидала якорь Маркелова лодья, везде являлись у него друзья и ученики. А потом оставалась незабытная память.

Маркел искал и находил людей, призванием которых было мореходство. За таких людей он полагал свою душу.

Когда Маркел пришел на Койду и срядился плыть на Новую Землю, в лодейную дружину вступил Яков Койдянин, подросток-сирота. В нем Маркел нашел ученика, потом и ревностного помощника в судостроении.

Старый мастер веселился сердцем и умом: есть кому оставить наше знание и уменье.

Но хмель молодости начал разбирать верного Маркелова помощника. Яков стал одолевать Маркела неотступным разговором:

— Уйду в российские города. Здесь тесно.

— Яков, у Студеного ли моря тесно? Что ты будешь делать в городах? Не отпущу тебя. Погубишь мастерство, потеряешь и себя. Ты не вернешься сюда.

Яков говорит:

— Я вернусь сюда, если ты, мастер Маркел, пойдешь вместе со мной. С тобой и я вернусь. А не пойдешь со мной, останусь там.

И старый Ушаков, тревожась и болезнью о судьбе талантливому ученика, оставляет свой дом, свой промысел и идет за Яковым неведомо куда.

Но скитались они недолго.

Однажды Яков пал мастеру в ноги с воплем и со слезами:

— Господин мой, доброхот мой! Непостижно велика печаль твоя обо мне. Не стою я тебя. Но, если можешь ты простить меня, если в силах ты глядеть на меня, то вернемся в нашу Койду, к нашему светлому морю, к нашему добродетельному промыслу.

Как-то при людях Маркел почествовал Якова, назвав его мастером.

Люди подивились:

— Столь молодого ты называешь мастером...

Маркел отвечал:

— Дела его говорят, что он мастер.

УШАКОВ И ФОМА КЫРКАЛОВ

Ушаково мастерство Маркелово было рассудительно и с любопытством, а не только по старым изычкам.

Ушаковские суда заморские обдуманы по чертежу.

Лодья¹ уж на воду спущена, мастер еще примечает, смекает и на догадку берет. Заботился, чтоб шито было прочно; беспокоился, насколько будет красовито на ходу, под парусами. Ушаков был ученик не худых учителей. И не хотел уважить иноземным кораблям. Однако их рассматривал испытно, чая пользы своему художеству.

Бывало, поручит Ушаков помощнику опробовать новопостроенную лодью, а сам выбежит на пристань, чтобы «из-под ручки посмотреть» на свое новорожденное.

Этак однажды привелся на пристани Фома Кыркалов, поздоровался с Маркелом и говорит насмешливо:

— Все ходишь, Маркел Иванович. Все любуешься на суда свои. Наглядеться, налюбоваться не можешь...

— Нет, нет, Фома Онаньевич, — горестно и гневно отвечал Маркел, — досадовать хожу, горячиться сам на себя хожу. Гляжу, ошибки свои считаю. Косность ума своего обличаю.

Кыркалов снял шапку и поклонился Ушакову в пояс:

— Когда так, Маркел Иванович, — ты настоящий, истинный художник!

НИЧТОЖНЫЙ СРОК

Корабельные мастера и работные люди от пяти берегов Двинской губы собрались в Соломбальской слободе выслушать отчет своих выборных людей и воочию увидеть Лисестровскую верфь — любимое детище всех пяти берегов.

Собрались не в раз и не в час. Кого держала непогода, кто намелился, кого водило в лесах. Наконец скопи-

¹ Лодья — морское трехмачтовое судно.

лись сполна. К началу собрания подоспел Панкрат Падиногин, артельный стряпчий, отъезжавший в Поморье.

Выборные люди стали докладываться всяк по своей части. Каждый из них тут же получал оценку своей деятельности. Григорий Гневашев докладывал:

— Я удоволил лисестровские анбары дорогим припасом, красным лесом. Хватит на два года при большом расходе.

Собрание спрашивает:

— За какое время ты управил это дело?

Панкрат отвечает:

— Начал с осени, по первому снегу. Завершил с началом навигации.

Собрание говорит:

— Значит, девять месяцев. Срок немалый. Благодарим, но ничего выдающегося тут нет.

Петр Сухой Лоб докладывал:

— Я обеспечил Лисестровскую верфь столярским и плотницким инструментом. Итого двести наборов.

Собрание спрашивает:

— Сколько времени ты хлопотал?

— Сколько Гневашев, столько и я. Всю зиму этим беспокоился. Итого девять месяцев.

Собрание говорит:

— Что же... Ты исполнил свою должность. Но ничего восхитительного тут нет... «Девять ден, девять верст, как сокол летел».

Докладчик Панкрат Падиногин спросил собрание:

— Известен ли вам художественный мастер и мореходец Маркел Ушаков?

Собрание отвечает:

— Ты бы еще спросил, известны ли нам отцы наши и матери! Мореходные и судостроительные чертежи Маркела Ушакова друг у друга отымаем.

Я уговорил Маркела Ушакова принять во свое смотрительное руководство нашу Лисестровскую верфь. Придет сюда на постоянное житье. Но, чтобы расположить Маркела, мне понадобился долгий срок...

— Сколь долгий? — спрашивает собрание.

— Девять лет...

Триста человек, как один, всплеснули руками, встали, закричали:

— Мало, совсем мало времени потратил ты, Панкрат Падиогин! Для столь полезного успеха девять лет — ничтожный срок.

КРУГОВАЯ ПОМОЩЬ

На веках в Мурманское становище, близ Танькиной Губы, укрылось датское судно, битое непогодой. Русские поморы кряду принялись шить и ладить судно. Переправку и шитье сделали прочно и, за светлостью ночей, скоро. Датский шкипер спрашивает старосту, какова цена работе? Староста удивился:

— Какая цена? Разве ты, господин шкипер, купил что? Или рядился с кем?

Шкипер говорит:

— Никакой ряды не было. Едва мое бедное судно показалось в виду берега, русские поморы кинулись ко мне на карбасах с канатами, с баграми. Затем началась усердная починка моего судна.

Староста говорит:

— Так и быть должно. У нас всегда такое поведение. Так требует устав морской.

Шкипер говорит:

— Если нет общей цены, я желаю раздавать поручно. Староста улыбнулся:

— Воля ни у вас, ни у нас не отнята.

Шкипер, где кого увидит из работавших, всем сует подарки.

Люди только смеются да руками отмахиваются.

Шкипер говорит старосте и кормщикам:

— Думаю, что люди не берут, так как стесняются друг друга или вас, начальников.

Кормщики и староста засмеялись:

— Столько и трудов не было, сколько у тебя хлопот с наградами. Но, ежели такое твое желание, господин шкипер, положи твои гостинцы на дороге, у крестов. И объяви, что может брать, кто хочет и когда хочет.

Шкиперу эта мысль понравилась:

— Не я, а вы, господа кормщики, объявите рядовым, чтоб брали, когда хотят, по совести.

Шкипер поставил короба с гостинцами на тропинке у креста. Кормщики объявили по карбасам, что датский шкипер по своему благодарному обычаю желает одарить всех, кто трудился около его судна. Награды сложены у крестов. Бери, кто желает.

До самой отправки датского судна короба с подарками стояли среди дороги. Мимо шли промышленные люди, большие и меньшие. Никто не дотронулся до наград, пальцем никто не пошевелил.

Шкипер пришел проститься с поморами на сход, который бывал по воскресным дням. Поблагодарив всех, он объяснил:

— Если вы обязаны помогать, то и я обязан...

Ему не дали договорить. Стали объяснять.

— Верно, господин шкипер! Ты обязан. Мы помогли тебе в беде и этим крепко обязали тебя помочь нам, когда мы окажемся в морской беде. Ежели не нам, то помоги

кому другому. Это все едино. Все мы, мореходцы, связаны и все живем такою круговою помощью. Это вековой морской устав. Тот же устав остерегает нас: «Ежели взял плату или награду за помощь мореходцу, то себе, в случае морской беды, помощи не жди».

ГРУМАНТ-МЕДВЕДЬ

З веробойная дружина зимовала на Груманте. Время стало ближе к свету, и двое промышленников запросились отойти в стороннюю избу: «Поживем по своим волям. А здесь хлеб с мерки и сон с мерки». Старосте они говорили:

— Мы там, на бережку, будем море караулить. Весна не за горами.

...Наконец староста отпустил их. Дал устав: столько-то всякий день делать деревянное дело, столько-то шить шитья. Не больше стольких-то часов спать. В становище повелено было приходить раз в неделю, по воскресеньям.

Оба молодца пришли в эту избу, край моря, и день-два пожили по правилу. До обеда поработают, часок поспят. Вылезут на улицу, окошки разгребут. В семь часов отужинают и спать. В три утра встают и печь затопляют. И еду готовят. Все, как дома, на матерой земле.

День-два держались так. Потом разленились. Едят не в показанное время. Спят без меры. В воскресенье не пошли к товарищам. В понедельник этак шьют сидят, клюют носом:

— Давай, брат, всхрапнем часиков восемь?!

К нарам подошли и, вместо шкур оленьих, видят белого медведя. Будто лежит, ощерил зубы, ошетинился...

Не упомнят молодцы, как двери отыскиали да как до становища долетели. Из становой избы их издали увидели.

Староста говорит:

— Им за послушанье какой-нибудь грумаланский страх привиделся. Заприте дверь. Их надо поучить.

Братаны в дверь стучат и в стену колотятся, их только к паужне пустили в избу. Они рассказывают:

— Мы обувь шьем, сзади кто-то дышит-пышет. Оглянулись — медведище белый с нар заподымался. Зубищи скалит, глаза как свечки светят...

Староста говорит:

— Это Грумант вас на ум наводит. Сам Грумант-ба-тющка в образе медведя вас пугнул. Он не любит, чтобы люди порознь жили. Вы устав нарушили, Грумант вас за это постращал.

БОЛЕЗНЬ

Опять было на Груманте.

Одного дружинника как раз в деловые часы начала хватать болезнь: скука, немогута, смертельная тоска. Дружинник говорит сам себе:

«Меня хочет одолеть цинга. Я ей не поддамся. У нас дружина малолюдна. Моя работа грузом упадет на товарищей. Встану да поработаю, пока жив».

Через силу он сползал с нар и начинал работать. И чудное дело — лихая слабость начала отходить от него, когда он трудился.

Дружинник всякий день и всякий час сопротивлялся немощи. Доброй мыслью побеждал печаль и победил цингу: болезнь оставила его.

ГРУМАЛАНСКИЙ ПЕСЕННИК

В старые века живал-зимовал на Груманте посказатель, песенник Кузьма. Он сказывал и пел, и голос у него как река бежал, как поток гремел. Слушая Кузьму, зимовщики веселились сердцем. И все дивились: откуда у старого неустоименная сила к пенью и сказанью?

Вместе со своей дружиной Кузьма вернулся на Двину, домой. Здесь дружина позвала его в застолье петь и сказывать у праздника. Трижды посылали за Кузьмой. Дважды отказался, в третий зов пришел. Три раза чествовали чашей — два раза отводил ее рукой, в третий раз пригубил и выговорил:

— Не стою я таких почестей.

Дружина говорит:

— Цену тебе знаем по Груманту.

Кузьма вздохнул:

— Здесь мне цена будет дешевле.

Хлебы со столов убрали, тогда Кузьма запел, заговорил. Его отслушали и говорят:

— Память у тебя по-прежнему, только сила не по-прежнему. На зимовье ты как гром гремел:

Кузьма отвечал:

— На зимовье у меня были два великие помощника. Сам батюшка Грумант вам моими устами сказку говорил, а седой океан песню пел.

ПО УСТАВУ

Лодья шла вдоль Новой Земли. Для осеннего времени торопилась в русскую сторону. От напрасного ветра зашли на отстой в пустую губицу. Любопытный детинка пошел

в берег. Усмотрел, далеко или близко, избушку. Толкнул дверь — у порога нагое тело. Давно кого-то не стало. А уж слышно, что с лодьи трубят в рог. Значит, припала поветерь, детине надо спешить. Он сдернул с себя все, до последней рубахи, обрядил безвестного товарища, положил на лавку, накрыл лицо платочком, добродушно простился и, сам нагой до последней нитки, в одних бахилах, побежал к лодье.

Кормщик говорит:

— Ты по уставу сделал. Теперь бы надо нам сходить его похоронить, но не терпит время. Надо подыматься на Русь.

Лодью задержали непогоды у Вайгацких берегов. Здесь она зимовала.

Сказанный детина к весне занемог. Онемело тело, отнялись ноги, напала тоска. Написано было последнее прощание родным. Тяжко было ночами: все спят, все молчат, только сальница горит-потрескивает, озаряя черный потолок.

Больной спустил ноги на пол, встать не может. И видит сквозь слезы: отворилась дверь, входит незнакомый человек, спрашивает больного:

— Что плачешь?

— Ноги не служат.

Незнакомый взял больного за руку:

— Встань!

Больной встал, дивясь.

— Обопрись на меня. Походи по избе.

Обнявшись, они и к двери сходили, и в большой угол прошли.

Неведомый человек встал к огню и говорит:

— Теперь иди ко мне один.

Дивясь и ужасаясь, детина шагнул к человеку твердым шагом:

— Кто ты, доброхот мой? Откуда ты?

Неизвестный человек говорит:

— Ужели ты меня не узнаешь? Посмотри: чья на мне рубаха, чей кафтанец, чей держу в руке платочек?

Детина всмотрелся и ужаснулся:

— Мой плат, мой кафтанец...

Человек говорит:

— Я и есть тот самый пропащий промысловщик из Пустой Губы, костье которого ты прикрыл, одел, опрятал. Ты совершил устав, забытого товарища помиловал. За это я пришел помиловать тебя. А кормщику скажи — он морскую заповедь переступил, не схоронил меня. То и задержали лодью непогоды.

ОБЩАЯ КАЗНА

Был дружинник — весь доход и пай клал в дружину, в общую казну. И некогда пришло на ум: «Стану откладывать на черный день. А то вклады у нас неравные, мне не больше людей надо».

Стал давать в общую казну, равняясь по маломочным

Бывало, когда он все отдавал, дак и люди ему все отдавали. А он отскочил от людей, и люди не столь его жалеют.

Однажды не пошел на ловы: «С меня запаса хватит». Захворал. И, бывало, как он неможет, двое при нем останутся: знают его простертую руку. А теперь никто не остался.

Он в эти дни одумался, опомнился.

— Нет, лучше с людьми. Люди в старости меня не оставят.

Скоро товарищи вернулись. Они беспокоились о нем
— Мы твое добро помним.

И опять он стал весел и спокоен: поживи для людей, поживут и люди для тебя. Сам себе на радость никто не живет.

Г Н Е В

В Двинском устье, на острове Кег, стоял некогда двор Лихослава и брата его Гореслава.

На Лихослава пал гнев Студеного моря. По той памяти место, где был «двор Лихославль», до сих пор называется Гневашево.

Лихослав был старший брат, Гореслав младший. Под рукою батьки своего, мореходца, оба возрасли в добром промысле. Так же неубыточно правили они торг у себя на Двине. Лихослава и Гореслава одна мать породила, да не одной участью-таланом наградила.

Гореслав скажет:

— В морском ходу любо, а в мирском торгу люто!

Лихослав зубы ощерит:

— Нет! В торгу любо, а в море люто.

Отец нахмурится и скажет Лихославу:

— Хотя ты голова делу, но блюдись морского гнева.

По смерти отца Лихослав отпихнул брата от лодейного кормила. Перешерстил всю лодейную службу, ни в чем не стал с дружиною спрашивать: «Я-де на ваше горланство добыл приказ».

И лодейная дружина не любила Лихослава, но боялась его.

Люди, ближние и дальние, говорили Гореславу:

— Что ты молчишь, брату? Зачем ты знание свое морское кинул ему под ногу? Разделись с братом. Батько дом оставил на двоих.

Эти речи Лихослав знает и зубами скрипит:

— Ай, братец! Костью ты мне в горле встал.

Таким побытом братья опять пришли на Новую Землю. Добыли и ошкуя, и песца. Ждали попутных ветров, чтобы подняться в Русь. А Гореслав с товарищем еще побежал на остатках по медвежьему следу. И в этот час с горы пало поветерье, пособное ходу в русскую сторону.

Закружились белые мухи: снег лепит глаза. Гореслав и дружинники кинулись к берегу — берег потерялся из виду. И бежать грубо: в камне одну ногу сломишь, другую выставишь. И мешкать нельзя, знают, что в лодье их ждут и кланут.

А старший брат видит, что в берегах непогода, и скредного своего веселья скрыть не может:

— Я с тобою сегодня, братец, учиню раздел. Ты сам за своей погибелью пошел.

И Лихослав начал взывать к дружине:

— Сами видите, друзья, какое лихородство учинил мой братец. Нароком он гулять отправился, чтобы меня здесь удержать да уморить. А что вы домой торопитесь, на это он плюет и сморкает.

Дружина смутилась. Некоторые сдались на эти речи. Но которые бывали в здешних берегах, те говорят:

— Непогода пала вдруг. Это здесь в обычай. Заблудиться может всякий. Надо в рог трубить и ждать. А не выйдут, надобно идти искать.

Кормщик затрубил в рог. Лихослав освирепел:

— Ребята! У них затеяно с Гореславом против нас! Не поддадимся нашим супостатам!

Доброчестные дружинники говорят:

— Господине, это ты затеял что-то. А мы без хитрости, по уставу надобно искать потерянных до последнего изможения.

Лихослав кричит:

— Не слушайте, ребята! Они хотят вас под зимовку подвести. По уставу я ответчик за дружину. Не дам вас погубить. Они и в рог-то трубят — свои воровские знаки подают. Эй, выбирайте якоря! Эй, вздымайте паруса! Бежим на Русь!

В лодье вопль, мятеж. А погода унялась. Над землей, над морем выяснило. Гореслав с товарищем выбежали на берег и смотрят это буйство в лодье... Лихослав управил лодью к морю, кормщик отымает управление и воротит к берегу. Одни вздымают паруса, другие не дают.

Гореслав и закричал:

— Братцы, не оставьте нас! Доброхоты, не покиньте!

Лихослава этот крик будто с ног срезал: чаял — потеряется да околеет там, а он стоит, как милый.

В злобе Лихослав забыл всю смуту в лодье. Он хватает лук и пускает в брата одну за другой три стрелы. Первая стрела, пущенная Лихославом в брата, утонула в море. Вторая жогнула Гореслава в голенище у бахил. Третья стрела прошила рукавицу и ладонь, когда Гореслав в ужасе прикрыл глаза рукою.

Сказанье говорит, что, видя это злодеянье, оцепенело море и земля, окаменели люди в лодье. А Гореслав, добрый, кроткий, стал пристрашен. Он грозно простер окровавленные руки к морю и закричал с воплем крепким:

— Батюшко Океан, Студеное море! Сам и ныне рассуди меня с братом!

Будто гром сгремел Океан в ответ Гореславу. Гнев учинился в море. Седой, непомерный вал взвился над лодьей, похватил Лихослава и унес его в бездну.

Утолился гнев Студеного моря. Лодья опрямилась, и

люди опамятовались. Дивно было дружине, что все они живы и целы.

Гореслав ждал их, сидя на камне с перевязанной рукой. Дружинники от мала до велика сошли на берег, поклонились Гореславу в землю и сказали:

— Господине, ты видел суд праведного моря. Теперь суди нас.

Гореслав встал, поклонился дружине тем же обычаем и сказал:

— Господа дружина! Все суды прошли. Все суды кончились. А у меня с вами нету обиды.

С этой дружиной Гореслав и промышлял до старости. Дружина держала его в чести, а он их в братстве.

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Сякин. Добрым людям на услышанье	5
Двинская земля	14

ОТЦОВО ЗНАНИЕ

Детство в Архангельске	23
Миша Ласкин	31
Поклон сына отцу	38
Старые старухи	40
Мурманские зуйки	47
Ваня Датский	59
Володька Добрынин	66
Гость с Двины	76
В отnose морском	84
Слово о Ломоносове	92

МАСТЕРА ПРЕИЗЯЩНЫЕ

Поморская баллада	123
М. Д. Кривополенова	127
Дед Пафнутий Анкудинов	131
Евграф	134
Дождь	134
Соломонида Золотоволосая	150
Лебяжья река	155
Виктор-горожанин	173

ГОСУДАРИ-КОРМИЩИКИ

Корабельные вожи	179
Маркел Ушаков и Василий Кекин	181

Видение	182
Достояние вдов	183
Понятие об учтивости	184
Кондратий Тарара	185
Художество	187
Вера в ложку	187
Рядниковы рукавицы	188
Треух	190
Ушаков и Яков Койденский	191
Ушаков и Фома Кыркалов	192
Ничтожный срок	193
Круговая помощь	195
Грумант-медведь	197
Болезнь	198
Грумаланский песенник	199
По уставу	199
Общая казна	201
Гнев	202

Борис Викторович Шергин.

ГАНДВИК — СТУДЕНОЕ МОРЕ.

Редактор В. К. Лиханова.

Художественный редактор В. С. Вежливцев.

Технический редактор Н. Б. Буйновская.

Корректор А. А. Фонтейнес.

Сдано в набор 5/III 1971 г. Подписано в печать 7/VI 1971 г.
Форм. бум. $70 \times 108\frac{1}{32}$ (бумага типографская № 1). Физ. печ. л. 6,5.
Усл. печ. л. 9,1. Уч.-изд. л. 8,572. Тираж 75 000 (1—40 000). Заказ 1855.
Сл 00104. Цена 40 коп.

Северо-Западное книжное издательство,

Архангельск, пр. П. Виноградова, 76.

Типография им. Склепина,

Архангельск, набережная В. И. Ленина, 86.